



И. М. КАЛИНИН

Под знаменем Врангеля: Заметки бывшего военного прокурора

<Фрагменты>

III Лавочка

Во главе Донской армии с начала 1919 года стоял генерал-лейтенант Владимир Ильич Сидорин.

Этот белый вождь, сохранив некоторые положительные черты прежнего образованного офицерства, усвоил многие пороки, свойственные новому командному составу, воспитавшемуся в хаосе Гражданской войны.

Доступный, любезный, обходительный, он старался всех просить и обласкать, и обнадежить. В нем совершенно отсутствовала кровожадность Покровского и грабительские замашки Шкуро*. В этом отношении он неуязвим. Из среды других генералов, в большинстве случаев бесшабашных черносотенцев, он счастливо выделялся тем, что искренно ненавидел старый режим и не стеснялся высказывать это вслух.

Но этим и исчерпываются его положительные стороны.

Сидорин, как и все казаки-интеллигенты, не имел определенных политических убеждений, исповедуя расплывчатый казакоманский символ веры. Ненависть к старому режиму уживалась в нем с сотрудничеством с отъявленными реакционерами, а борьба против последних не шла дальше слов.

Как порождение бурной эпохи и как воплощение раздольной казачьей стихии, он отличался необузданной широтой размаха, не зная препон своим желаниям и только в силу своей воспитанности избегал крайних проявлений своего нрава. В отношении своееволия он вполне родился с феодалами того времени, Слащёвым, Покровским, Шкуро, которые в районе своих армий или корпусов вели себя как автономные властелины и плохо считались с распоряжениями белых правительств. Шкуро и Покровский доходили до того, что со-

* Настоящая фамилия этой бутафорской знаменитости была Шкура, но с 1918 г. для благозвучия он стал себя звать Шкуро.

перничали между собою в перехватывании подкреплений, которые присыпались на фронт вовсе не для их корпусов.

Командующий Донской армией имел еще более оснований поглядывать на всех с высоты птичьего полета. По договору, заключенному еще ген. Красновым с Деникиным, Донская армия только в оперативном отношении подчинялась главнокомандующему вооруженными силами Юга России, во всех же прочих отношениях донской командарм считался только с донской властью. Подобное двойное подчинение давало Сидорину основание игнорировать распоряжения и ставки и донского правительства. Он чувствовал себя маленьkim царьком и почти не считался с атаманом Богаевским.

Беглый очерк сидоринского прошлого лучше всего может дать представление об этом белом вожде.

Звезда Сидорина стала восходить на донском политическом горизонте при Каледине, у которого он состоял начальником штаба. В январе 1918 года Каледин застрелился, убедившись в бесполезности борьбы против большевиков, которые заняли Дон. В период начавшегося затем восстания донцов, весною того же года, Сидорин играл настолько видную роль, что воцарившийся вскоре с помощью немцев Краснов увидел в нем опасного соперника, энергичного, честолюбивого, не брезгающего никакими средствами. Чтобы избежать преследования, для Сидорина и его сторонников ничего другого не оставалось, как перекочевать в Екатеринодар, под крыльышко Доброволии, тогда еще довольно слабой, но уже определенно реакционной и ненавидевшей самостийный Дон с его демократическим устройством. Краснов пугал ревнителей «национальной» России. Им уже мерещилось, что он со своими казаками дойдет до Москвы, восстановит без них царскую власть и перехватит у них лавры Минина и Пожарского вместе с первенствующей ролью в государстве. Поэтому в Екатеринодаре, где тогда находилась преданная Антанте ставка Деникина, всячески интриговали против германофила Краснова, дерзавшего писать письма кайзеру как равный к равному, и стремились, где только можно, подставлять ему ножку. Беглые враги атамана принимались с распростертыми объятиями. Сидорин и его клевреты, ген. П. Х. Попов¹, Э. Семилетов² и полк. Гущин, нашли в Екатеринодаре приют и ласку и получили полную возможность путем устной и печатной агитации ратовать против донского конституционного самодержца.

Когда в начале 1919 года дела Дона настолько пошатнулись, что красные войска стояли чуть не под самым Новочеркасском, донское казачество волей-неволей должно было обратиться за помощью к Добранции. Пребывание высокомерного германофила Краснова на атаманском посту стало неудобным. В феврале он и его ставленник, командующий Донской армией ген. С. В. Денисов, подали

в отставку и укатили в Берлин, оппозиция же возвратилась на Дон. Однако во главе войска Донского, по настоянию Деникина, стал ничтожный и безвольный Богаевский, а не демократ и казакоман Сидорин, получивший только командование Донской армией.

В то время, как бывший «свиты его величества» ген. Богаевский наполнял свой досуг приемами депутатий, участием в торжествах или чинопроизводством, Сидорин руководил реальной силой Дона — армией — и в период летних успехов 1919 года приобрел не малый удельный вес. Атаман стал завидовать своему товарищу и, как год тому назад Краснов, побаиваться его честолюбия. Почувствовав, что из Новочеркасска повеяло холодом, Сидорин начал оглядываться назад. Он не так страшился врага с севера, как врага с юга. Его тайный агент капитан Бедин зорко следил в Новочеркасске за настроением «сфер».

С воинским кругом — «хузяевами» земли донской, как их иронически называли черносотенцы, Сидорин умел ладить. Этот круг, сбирающе старых вахмистров, станичных атаманов и, в лучшем случае, «химических» офицеров, полных невежд и в грамоте, и в политике, привыкших повиноваться не рассуждая старшему в чине, слепо шел за небольшой группой вожаков-интеллигентов казакоманского направления. Из этих последних никто не мог точно формулировать своей политической программы, но каждый считал себя по меньшей мере Милюковым, если не Бисмарком³. Сидорина эта либеральная группа донских законодателей весьма ценила, как человека своего миросозерцания, даже невзирая на то, что для него ничего не стоило приказать силою освободить из тюрьмы донского богача Воронкова, арестованного в Ростове за спекуляцию, к которой был причастен и сам командарм, или разорвать дознание о преступлениях начальника автоочасти полк. Мержанова, своего родственника, и потребовать производства его в генералы, вместо отдачи под суд. Такие поступки доказывали, что демократический генерал не очень почтительно относится к закону, ставя его в ничто по сравнению с силой. Однако донские законодатели на такие пустяки не обращали внимания.

В период отступления, начавшегося зимою 1919 года, когда собственно деникинские армии растаяли, как кусок льда, Донская армия играла первенствующую роль, сдерживая напор Будённого со стороны Царицына. Значение Сидорина возросло. Доброволия, некогда лелеявшая его, как врага самовластного Краснова, теперь тоже возненавидела его за высокомерие и будучи не в силах мириться с его могуществом, хотя бы минутным. Старая злоба на донское казачество, подогретая теперь счетами с Сидориным, вызвала оставление на произвол судьбы Донской армии в Новороссийске. Весьма близкий к Деникину ген. Кутепов, другой величайший честолюбец, не мог простить Сидорину того, что в период февральских боев на Кубани

ему, командиру красы и гордости белого стана — «цветного»* корпуса, — пришлось подчиняться донскому командарму.

Мелкие, мстительные люди свели счеты, и в результате от стотысячной Донской армии в Крым не прибыло и десятой доли. То, чего не могли сделать красные, с успехом выполнила генеральская вражда, взаимные интриги этих маленьких подражателей великому Наполеону⁴.

В крошечном Крыму Сидорину, человеку с замашками феодального сеньора, было нечего делать. Маленький полуостров мог служить уделом только одному владельцу, какой вскоре нашелся в лице Врангеля.

Помощником донского командарма, начальником его штаба, являлся генерал-лейтенант Анатолий Киприанович Кельчевский, человек совершенно другого типа. В противоположность тридцатипятилетнему Сидорину он был уже в весьма почтенных летах. Кабинетный работник, профессор Академии Генерального штаба, он избегал политики, опасаясь, что она засосет его, как тина. Избранный, без особого на то желания, военным министром объединенного южно-русского правительства (в феврале 1920 г.), он не спешил занять свой пост и благополучно просидел в сидоринском поезде до того момента, когда уже ни о каком управлении не могло быть речи.

Бес честолюбия также не грыз старика. Когда Мамонтов вернулся из своего знаменитого рейда, стратегический план которого разработал Кельчевский, атаман обратился к последнему с вопросом:

— А какую награду хотели бы вы себе, Анатолий Киприанович? Не произвести ли вас в полные генералы?

— Эх, Африкан Петрович, если бы вы могли произвести меня в подпоручики с возвращением мне прежних лет, — с обычной шутливостью ответил Кельчевский, уже давно переставший ценить всякие отличия.

Не казак по происхождению, он мало интересовался политической жизнью Дона. Если где-либо требовалось его активное участие, он действовал под влиянием Сидорина. Близость к последнему и послужила главной причиной того, что мстительный Врангель, сводя счеты с Сидориным, усадил и его на скамью подсудимых вместе с донским командармом.

В Гражданскую войну почти при каждом большом белом вожде состояла так называемая «лавочка». Это ходячее слово в белом стане приобрело довольно специфическое содержание.

«Лавочка» — это совокупность близких к вождю людей, связанных с ним дружбою, кутежами, тесными материальными интересами, а подчас и преступлениями. «Лавочка» доставляла вождю

* Цветными войсками звали Корниловский, Марковский, Дроздовский и Алексеевский полки за их цветные фуражки.

развлечения, оберегала его в пьяном виде, составляла его свиту при торжествах, рекламировала его в прессе, обдевывала всякие его денежные делишки, добывая темные суммы для вольготной жизни патрона и не забывая при этом свой карман. Патрон, в свою очередь, заботился об этой теплой компании, повышал в чинах, покрывал, пользуясь своей властью, ее грешки, иногда избавлял от заслуженной судебной кары, давал возможность поднажиться и т. д. Эту своеобразную камарилью, состоявшую большей частью из людей молодых, с ничтожным служебным положением, ненавидела не только строевщина, но и высшие начальники, которым зазнавшиеся опричники не оказывали почтения. В случае падения вождя, разумеется, удирала вслед за ним вся лавочка и делила с ним судьбу, если не попадала под суд. Ген. Покровский в эмиграции образовал из своей «лавочки» преступную шайку, занимавшуюся убийствами.

Сидорина тоже окружала «лавочка». В состав этого своеобразного организма входил человек со светлой головой, недурной журналист, довольно грамотный политически, но по молодости лет чваный и горячий. Это был двадцати трехлетний войсковой старшина Александр Михайлович Агеев*, тот самый, который спустя 2 года одним из первых в эмиграции водрузил знамя бунта против Врангеля, замышлявшего новые авантюры, и пал жертвой своего стремления увлечь казачьи массы в Советскую Россию. В период Гражданской войны таланты Агеева, занимавшего официально должность адъютанта командарма, уходили на мелкие дела. Он, между прочим, рекламировал Сидорина в прессе, именуя его, в пику атаману, «вождем казачества».

Эту рекламную работу разделял с ним бывший стенографист Государственной думы Григорий Николаевич Раковский⁵, корреспондент при штабе армии. Наблюдая фронтовую жизнь из окна сидоринского поезда, в котором разъезжала только «лавочка», он нередко описывал сражения, которые не происходили, и подвиги, которые не совершались. События он так привык расценивать с точки зрения официальных версий, что и впоследствии за границей, перейдя в услужение к пражским эсэрам во главе с Черновым, не избавился от этого порока.

Другим адъютантом ген. Сидорина был некий хорунжий Миша Хотин, кубанец, неведомыми путями попавший в Донскую армию. Он состоял maître d'hotel'ем сидоринского поезда. Иногда в нем пробуждался боевой пыл, и он совершал оригинальные подвиги. Так, 11 марта 1920 г. на Кубани, во время нападения зеленых на станицу Абинскую, когда сидоринский поезд уже трогался, этот вояка бросил-

* Родной брат видного члена круга П. М. Агеева⁶, который в южнорусском правительстве занял пост министра земледелия.

ся на пути и, ловко поймав за хвост поросенка, вскочил с ним в вагон уже на самом ходу. За обедом этот трофея был торжественно съеден.

Выше упоминалось о капитане Бедине. Это была крайне темная личность, служившая Сидорину, смотря по надобности, то денщиком, то контрразведчиком. В течение всей Гражданской войны, до самой новороссийской катастрофы, в Донском военном суде и у военных следователей лежало немало дел о художествах этого господина. По одному он обвинялся в присвоении не принадлежащего ему офицерского чина, по другому — в вымогательствах, по третьему — в большевизме и т. д. Все эти дела недвигались ни на шаг вперед за «неизвестностью местонахождения» обвиняемого.

Второстепенную роль в этой среде играл главный врач армии Вершинин и начальник авиочасти ген. Стрельников. Первый, совершенно спившийся старик, нужен был для выписывания по рецептам общезвестного лекарства *spiritum vini*, которое потреблялось «больными» сидоринского поезда в значительном количестве. Хорунжий Хотин в Крыму долго волновался из-за того, что в Новороссийске «лавочке» пришлось бросить 16 ведер этого лекарства.

Стрельников слыл за сидоринского «извозчика», так как командарм только одному ему доверялся в своих постоянных полетах по фронту на аэроплане. Политической частью, т. е. информационно-агитационной, ведал сотник граф Дю-Шайла, человек с крайне пестрым прошлым. Воспитанник иезуитской коллегии, он затем перешел в Санкт-Петербургскую Духовную академию (православную). Далее — член кружка графини Игнатьевой, затем эсэр и, наконец, казакоман.

12 марта 1920 г., когда сидоринский поезд стоял в 20 вер. от г. Новороссийска, на ст. Туннельной, Дю-Шайла подал Сидорину доклад, озаглавленный «Пути казачества», в котором писалось: «В Советской России сейчас идет усиленная работа эсэров, центр которых находится в Тифлисе (*sic*), по созданию внутреннего взрыва. Казачество, как земледельческий класс, в борьбе против большевиков не может идти рука об руку с Добровольческой армией, руководимой представителями помещичьей России, и проливать кровь в Гражданской войне, выгодной только для монархистов и большевиков. Только совместная работа с эсэрами способна удовлетворить справедливые казачьи домогательства об автономии своих областей и об устройстве своей жизни по прадедовским заветам».

В Крыму Дю-Шайла за этот доклад едва не поплатился жизнью. В Туннельной же Сидорин не обратил внимания на эту политическую программу, так как в тот момент пути казачества определяла одна только Красная армия, гнавшая его по пятам.

По водворении штаба Донской армии в Евпатории Дю-Шайла, редактируя «Донской вестник», отчасти начал развивать в газете свою эсэровскую программу, мешая ее с казачими фантасмагориями.

Строго говоря, боевые места этой газеты, так перепугавшие Бориса Ратимова, были старой песней на новый лад. Казачьи политические деятели левого толка всегда немного эсэрили. Только теперь, ввиду всеобщего разочарования в вооруженной борьбе с большевиками, к этим перегудкам начали внимательно прислушиваться. Черная в них убеждение в правоте своего примиренческого настроения, казаки, однако, менее всего собирались сменить белогвардейскую маску на эсэровскую. Из статей «Донского вестника» казачня могла понять только одно: воевать больше не нужно; что и штаб армии смотрит на это точно так же.

Но штаб армии в это время менее всего занимался глубокомысленными рассуждениями. Пока Дю-Шайла пугал евпаторийских осважников, донское командование почивало на незаслуженных лаврах. В «Дюльбере» царило веселье; «лавочка», как бы предчувствуя свой близкий конец, отплясывала танец смерти. В эти дни трудно было добиться приема у командарма даже по наиболее серьезным делам. Я иногда до двух часов дня ждал его пробуждения и уходил несолено хлебавши от дверей олимпийцев.

Верхи явно впали в прострацию. Низы не хотели воевать. Никто не знал, что ждет остатки Донской армии. В обновление ее надломленного организма трудно верилось, полной же его смерти многие боялись.

Врангель разрешил все эти сомнения.

IV Генерал Врангель

Удрученный проигрышем Гражданской войны, ген. Деникин 22 марта созвал на совещание высших военных начальников, объявил им о своем бесповоротном решении уйти в отставку и предложил им выбрать нового главнокомандующего.

Никто против смены вождя не возражал, но все отказывались от выборов, считая, что в военной среде принцип выборности неуместен.

После некоторого размышления Деникин назначил своим преемником генерал-лейтенанта барона Петра Николаевича Врангеля и, благословив свои войска на новый путь, уехал за границу вместе с начальником своего штаба ген. Романовским, которого в Константинополе поразила рука неведомого убийцы. Сам же отставной Главком благополучно добрался до Англии. В белом стане долгое время передавалась из уст в уста легенда о том, что английский король за его верную службу великобританским интересам пожаловал его титулом лорда⁷.

Политическая роль Деникина кончилась. Для остатков южно-русских белых армий настала новая эра.

Если эпоха гражданской войны на Юге России в 1918 и 1919 гг. ни в коем случае не может быть названа деникинщиной, так как личность главнокомандующего далеко не определяла ни целей, ни характера борьбы с советской властью и даже не являлась центральной фигурой всего антибольшевистского движения, то следующий период смело может быть назван врангелевщиной.

Деникин сам ничего не создавал и даже ничего не реформировал. Основное ядро, из которого потом выросла Добровольческая армия, — «первоходников», он получил преемственно от Корнилова, убитого 30 марта 1918 года при неудачном штурме Екатеринодара. Позже к нему присоединились банды Шкуро и кубанцы Покровского.

Донские казаки сами освободились от большевиков. Их армия подчинялась Деникину только в оперативном отношении, и то лишь с конца 1918 года. В этот первый период движение против большевиков создавалось чисто стихийно; отдельные личности играли второстепенную роль.

Врангелю, напротив, пришлось на первых же порах напрячь все свои силы и проявить немалое творчество, чтобы деморализованный, утративший веру в белых вождей, голодный и оборванный сброд обратить в боеспособную войсковую силу и вновь двинуть его на борьбу. За это дело он принял с невероятной страстью.

Если Деникин оказался на вершинах власти чисто случайно, то этого никак нельзя сказать про Врангеля.

Безмерно честолюбивый, полный кавалерийского пыла и задора, он рвался к власти и ратным подвигам, воспламененный той славой, которая окружала исторические имена его предков. Один из них был сподвижник доблестного шведского короля Густава-Адольфа и прославил свое имя в 30-летнюю войну.

Дряблость Деникина возмущала твердое готское сердце барона. Беспроблемное пьяństво, дебоши и хулиганства любимцев Деникина, Шкуро и Покровского претили его аристократическому вкусу. Ему казалось, что он сразу перевернул бы всех и вся, договорил бы недоговоренное, поставил бы всюду точки над i, создал бы из южно-русского хаоса не только прочный, единый противобольшевистский фронт, но и выковал бы прообраз сильной, обновленной России.

Когда в конце 1919 года весы военного счаствия стали явно клониться на сторону красных, Врангель, командовавший в то время собственно Добровольческой армией*, начал плести паутину интриг против Деникина. 12 декабря он пригласил на станцию Ясиноватую (в Донецком каменноугольном районе) на совещание других командующих армиями и, раскритиковав деятельность Деникина,

* Кроме этой у Деникина была Кавказская армия ген. Покровского (на Царицынском фронте), украинская ген. Бредова и, кроме того, особая Донская.

заявил, что смена главнокомандующего — вполне назревший вопрос. При этом он дал понять, что ничего не имеет против избрания его на пост главы Вооруженных сил Юга России.

— Кому угодно, только не вам с вашим баронским титулом, занять место Деникина, — возразил Сидорин, который своим казачьим чутьем угадывал, что в бароне сидит скрытый реставратор.

В Крыму это замечание много испортило крови Сидорину. В Ясноватой же оно провалило затею Врангеля.

В тот момент, когда Деникин подписывал приказ о назначении себе преемником Врангеля, последний находился в Константинополе, будучи выслан туда в феврале за свои интриги против главнокомандующего.

Назначая себе преемника, Деникин вполне отдавал себе отчет в том, что делал. Он отлично знал, что имя Врангеля очень популярно в монархических кругах; что чиновная знать считает его, аристократа, своим; что Врангель жаждет деятельности и бредит властью; что из среды других видных полководцев он счастливо выделяется прекрасным образованием, воспитанностью и т. д. Все это, вместе взятое, и побудило Деникина избрать в преемники не кого иного, как того, кто вел под него подкопы.

— Ну что ж, — как бы говорил Деникин этим назначением барона, — ты так добивался власти, так хотел спасать Россию — вот, на тебе власть, иди спасай, попробуй.

Уведомленный о назначении, Врангель стремительно прикатил из Константинополя на миноносце в Севастополь.

Всех волновал вопрос, как будет реагировать новый главком на английскую ноту, предлагавшую вступить в переговоры с большевиками. Большинство даже самых высших военных начальников склонялось к той мысли, что роль Врангеля сведется к ликвидации остатков Вооруженных сил Юга России.

25 марта, в Благовещенье, новый главнокомандующий появился в Морском соборе. Молодой викарный епископ Вениамин приветствовал его крайне воинственной речью.

— Дерзай, вождь! Ты победишь, ибо ты Петр, что значит камень, твердость, опора. Ты победишь, ибо сегодня день Благовещения, что значит надежда, упование. Ты победишь, ибо сегодня храмовой праздник церкви того полка, которым ты командовал в мировую войну*.

Аргументы были не совсем убедительные. Но мысль о победе, видимо, пришла вождю по сердцу, так как он удостоил оратора особым вниманием и возвел его в звание «архиепископа христолюбивого воинства».

* Лейб-гвардии конный полк. Полковая церковь этого полка — Благовещенская, близ быв. Николаевского моста.

Вслед за голосом духовенства воинственный призыв раздался и из другой высшей среды. Группа государственных и общественных деятелей, сенаторов, быв. членов Государственного совета, крымских землев-аристократов подала новому главкому докладную записку о невозможности мира и о необходимости продолжать вооруженную борьбу.

Представители верхов хотели воевать.

Вскоре высказался сам Врангель, и всем стало ясно, что не для того он стремился взять бразды правления, чтобы ликвидировать Белое движение. Новому вождю хотелось испытать свою судьбу и выведать у ней, не ему ли, потомку воинственных шведских баронов, уготован светлый жребий спасителя отечества от большевистского ига.

Подстрекательства французского правительства, желавшего спасти Польшу, окончательно определили волю вождя.

В конце Пасхальной недели он прибыл в Евпаторию. Нестройные казачьи толпы высыпали на парад в жажде услышать какую-нибудь радостную новость. Взойдя на церковное крыльце, Врангель вытянулся во весь свой высокий рост. Донцы впервые увидели эту длинную, худую фигуру, одетую в черкеску, вытянутое немецкое лицо с живыми, пронзительными глазами. Мало кому тогда приходило в голову, что этот человек сыграет такую роковую роль в судьбе остатков донского казачества, попавших в Крым, и что впоследствии редко чей голос не произнесет по его адресу проклятия из глубины болгарских шахт, со скалпустынного Лемноса, из идиллических трущоб далматинского побережья.

— Донцы! — начал вождь. — Я знаю, что ваши сердца гложет тоска по своим хуторам и станицам. Столько жертв принесли вы на благо родины, но оказались у разбитого корыта. Я выведу вас с честью из создавшегося положения. Через самое малое время к нам придут пароходы...

Шеи станичников вытянулись. Глаза радостно заблиствали.

— Господи! — мелькнуло в головах, — наконец-то замирение!

Болезненное воображение уже рисовало лазоревую степь, топот кобыл, отдаленный кизячий дым над приютившимся в балке хутором.

А вождь, не без иронии полюбовавшись несколько мгновений произведенным впечатлением, вдруг энергично взмахнул головой, метнул глазами и продолжал после мимолетной паузы:

— ...пароходы, полные винтовок и пулеметов. Я дам вам лошадей и шашки, пришлю обмундирование, и вы снова двинетесь в бой отвоевывать у насильников-большевиков свои родные степи. Там ждут вашего прихода с нетерпением. Мира быть не может. Пусть англичане идут на мировую, это их дело. Нам же святой долг перед родиной повелевает не слагать оружия до тех пор, пока в наших грудях бьются сердца.

Глухой ропот пронесся по казачьим группам. Сзади уже послышались неодобрительные выкрики.

Оратор поспешил сойти с импровизированной трибуны и укатить на автомобиле в Севастополь.

Почти одновременно с этим вышел приказ нового главнокомандующего, в котором объявлялось о ноте Ллойд-Джорджа белым и красным и указывалось на переговоры с большевиками непримлемо, что теперь надо надеяться только на самих себя и всячески готовиться к продолжению вооруженной борьбы.

Борьбу, в сущности, приходилось начинать сначала. Более того: возникала необходимость в корне уничтожить многочисленные язвы, которые въелись в плоть и кровь белого стана и разъедали при Деникине живое тело Вооруженных сил Юга России.

Заработал Осваг.

Надо было вдохнуть бодрящий дух в деморализованные неудачей войска, а в перепуганное общество вселить веру в то, что не все еще пропало и что еще рано кричать «Спасайся, кто может!». Для этой цели хитроумные осважные Одиссеи применили старый, уже не раз использованный арапский номер. Вскоре во всех осважных газетах Крыма появилась статья «Большевики о моменте», в которой приводилась мнимая выдержка из «одной большевистской газеты»:

«Надо сознаться, что наше (красное) командование упустило удобный момент одним взмахом раздавить гидру контрреволюции на юге России. Увлекшись преследованием армий Деникина на Кавказе, оно не обратило должного внимания на Крым, оставив его в руках белых. Теперь туда собрались остатки деникинских армий и они превратят полуостров в неприступную твердыню. Стальной Врангель, ставший у власти, легко выкует из добровольцев и казаков могучую силу, а черноморский флот, находящийся в его распоряжении, создаст нам вечную угрозу десантами. В случае наших неудач на польском фронте крымская армия легко может сыграть решающую роль в нашей судьбе. Поэтому нельзя не пожалеть, что вовремя не было уничтожено последнее гнездо контрреволюционной заразы на юге. Мы снова стоим лицом к лицу против нашего сильнейшего врага».

Другими словами, мы еще сила, это признают даже красные, поэтому нам нечего сматывать удочки.

Разумеется, тотчас же во всех органах печати запестрели известия о несуществующих «грандиозных восстаниях» на Дону, в Поволжье, на Украине.

Одновременно со светским Освагом к усиленной работе приступило и духовенство. В Крыму скопилось громадное количество духовных отцов, ранее служивших при войсковых частях, а теперь, при сокращении армии, оказавшихся не у дел. «Христолюбивый вождь, имевший меч в руке, а крест в сердце», нашел им работу. Кафедра превратилась в трибуну, церкви — в чайные Союза русского народа. Рясофорные проповедники начали разъезжать по войсковым частям и наводить тоску на солдат и офицеров своими проповедями.

«Стальной» Врангель, действительно, начал «творить чудеса», как о нем отзывались зарубежные белогвардейские газеты, восхищенные энергией и твердостью молодого вождя.

Прежде всего он реорганизовал армию, которая теперь была сведена в четыре малочисленных корпуса (добровольцы Кутепова, крымские отряды Слащёва, кубанцы Писарева и донцы Сидорина). Препролавленные деникинские орлы, Покровский и Шкуро, получили чистую отставку. Второй из них подал было рапорт, прося разрешить ему формирование партизанского отряда.

«Время партизанщины прошло», — положил резолюцию Врангель. Другие, пока еще уцелевшие, феодалы поджали хвосты. Сидорин брыкался, но скоро и на него опустилась тяжелая рука барона.

V Гром грянул

Политиканство штаба бывшей Донской армии, теперь преобразованной в корпус, наконец стало известным Врангелю. Но участь донского вождя была предрешена и без этого.

Сидорин с первых дней пребывания в Крыму чувствовал, что в Гражданской войне его роль кончена. Назначение Врангеля уже заставило его серьезно подумать об отставке. Он ждал только удобного момента, чтобы уйти, а пока что вел энергичный спор со штабом главнокомандующего, требуя предоставления ему прав командира отдельного корпуса.

— Они боятся дать мне это право, так как тогда, согласно «Положению о полевом управлении войск», я могу своей властью производить реквизиции у населения. А они хотят поставить донцов в полную зависимость от себя, чтобы мы не смели без них ни вздохнуть, ни охнуть, — объяснил мне Сидорин.

В этом его домогательстве Ставка усмотрела новое проявление казачьего сепаратизма.

Однажды, числа 5-го или 6 апреля, я явился в «Дюльбер» для очередного доклада. Как всегда, в коридорах шмыгала бесчисленная штабная братия. Но на этот раз ее озабоченные лица и отрывистые разговоры вполголоса говорили о том, что случилось нечто необычайное. Прежнее высокомерие и вызывающий тон как рукой сняло.

— Что у вас тут происходит? — обратился я к наидобрейшему и наиничтожнейшему ген. Тараканову, занимавшему должность помощника начальника штаба армии.

— Знаете, того... Кажется, скоро конец всей нашей «лавочки».

— То есть?

— То есть все уйдем в отставку.

— И Владимир Ильич?

Сидорин был тезкой Ленина по имени и по отчеству.

— И он также.

Для тревоги, как оказалось, существовала достаточная причина. В городе распространился номер суворинского «Вечернего времени», в котором был напечатан следующий приказ Врангеля:

«Пробил двенадцатый час нашей ожесточенной борьбы с большевиками. Нам надо напрягать всю свою мощь, чтобы соединенными силами готовиться к отражению вражеского удара. Между тем в штабе Донского корпуса царит политиканство. В издаваемой штабом газете “Донской вестник” сеется вражда между добровольцами и казаками, поносятся вожди Добровольческой армии и проводится мысль о соглашательстве с большевиками. По соглашению с Донским атаманом приказываю газету закрыть, редактора сотника графа Дю-Шайла предаю военно-полевому суду при Управлении коменданта моей штаб-квартиры по обвинению в государственной измене, отрешаю от должности командира корпуса ген. Сидорина, начальника штаба ген. Кельчевского и генерал-квартирмейстера ген. Кислова. Главному Военному Прокурору назначить предварительное следствие для выяснения соучастников преступления, учиненного сотником графом Дю-Шайла».

«Евпаторийский курьер» сначала даже не рискнул перепечатать этот грозный приказ.

На другой день я снова посетил «Дюльбер» и нашел там уже форменную панику. Появились новые, совершенно незнакомые мне адъютанты. Как водится, на первых порах, пока не зазнались, они держали себя вежливо. Из старых знакомых мне удалось наконец поймать сотника Атланова, который занимал скромное место среди штабной челяди и в обычное время даже не осмеливался показываться в коридорах штабного Олимпа.

Этот Атланов, к слову сказать, был прелюбопытнейший субъект. Малограмотный вахмистр старого времени, он в Гражданскую войну служил на выборной должности станичного атамана Еланской станицы. Тут столько же недалекий, сколько надутый и чваный парень хозяйничал, как некогда в сотне. Офицерские погоны он заслужил прекрасным обедом, устроенным на общественный счет атаману.

— У меня в станице, как в строю, чтобы все по струнке, — рассказывал сам еланский помпадур штабной молодежи. — Чуть начальство близко, бросай все, вали-валом навстречу. Выпрягай лошадей, вези начальство на своих плечах, едят тя мухи с комарами.

Начальство было польщено, видя «народную любовь». Плечами подчиненных Атланов заработал себе офицерские погоны на плечи. В период бегства по Кубани его постигло несчастье. Где-то в сутолоке, не то под Новороссийском, не то под Туапсе, он потерял свою «насеку» (булаву) с серебряным набалдашником — знак своего атаманского достоинства. Эта утрата удручала его гораздо более, чем проигрыш войны. Добравшись до Евпатории и устроившись

на службу в штаб, он мало интересовался перипетиями казачьих скитаний по Черноморскому побережью, задавая всем прибывавшим оттуда, будь то простой казак или видный генерал, лишь один неизменный вопрос:

— А не случалось ли вам где-нибудь видеть булавы атамана Еланской станицы?

Ведь с этой булавой связывалось его недавнее величие, его самодержавная власть над несколькими тысячами казаков и крестьян!

От этого-то еланского администратора я и узнал, что творится в штабе. Оказывается, из Севастополя прибыл преемник Сидорину ген.-лейт. Ф. Ф. Абрамов и военный следователь по особо важным делам при главнокомандующем, действительный статский советник Гирлич; что граф Дю-Шайла арестован и в его номере производится обыск; что Сидорин и все его сподвижники, т. е. «лавочка», собирают чемоданы, так как завтра выезжают в Севастополь, а оттуда за границу.

— Надо бы показать этим «русским» силушку Тихого Дона... — начал было здоровенный Атланов вполголоса, но, заметив тщедущего Гирчича, спускавшегося по лестнице, запрятал кулак в карман.

В ставке не предполагали, что Сидорин сдастся без сопротивления. Войсковым частям, защищавшим Перекоп, секретно предписали быть готовыми к нападению не только с севера, со стороны красных, но и с юга, со стороны Донского корпуса.

Опасения ставки оказались излишними. У Сидорина хватало характера и таланта для интриг, хватало смелости для словесной борьбы с единонеделимцами и для пререканий со Ставкой, но отнюдь не для решительного шага, хотя бы в защиту собственной своей персоны.

Г. Н. Раковский в своей, изданной на средства Чернова, книге «Конец белых» из кожи лезет, чтобы подвести ген. Сидорина, представителя левой фракции казачьих политических деятелей, под эсэров. Если, действительно, Сидорина что-либо роднило с эсэрами, так разве только политическая импотенция.

Он не скрывал своего разочарования в Гражданской войне, разрешил или, точнее, не мешал в штабном органе бичевать ревстараторские замашки Доброволии и доказывать, что казачеству с ней не по пути. Когда же настал момент перейти от слов к делу, он сдрейфил, не рискнув встать во главе казачества, все помыслы которого были направлены только на мир. Бесславно сойдя с политического горизонта, он беспрепятственно отдал казачество Врангелю для новой военной авантюры, окончившейся терзаниями среди лемносских скал и безыдейным скитальчеством по балканским захолустьям.

Врангель, прибегнув к расправе с Сидориным, шел ва-банк. Хотя донцы представляли слабую военную силу, но казачий бунт в осажденном полуострове мог иметь самые гибельные последствия.

У Сидорина, однако, не хватило духу на переворот. Волевая сила оказалась неизмеримо выше у реакционного Врангеля, чем у расхлябанного демократа Сидорина.

Я зашел попрощаться с опальными вождями.

— Бог даст, мы еще встретимся и, как знать, может быть, при лучших обстоятельствах, — напутствовал меня Кельчевский.

Мы на самом деле встретились, и очень скоро — в Севастопольском военно-морском суде, куда они явились в роли обвиняемых, я же их защитником.

Генералы уехали в Севастополь на автомобилях. Графа же ДюШайла Гирчич повез туда на пароходе. Дорогой арестованный ухитился достать револьвер и нанести себе тяжелую рану, но неопасную для жизни. Такой номер спас его от неминуемого расстрела.

«Лавочка» тоже последовала за вождями. Даже 23-летний Агеев вышел в отставку по болезни. Только капитан Бедин изменил: он поступил на службу во врангелевскую контрразведку и получил назначение состоять агентом при Донском корпусе, имея целью следить за состоянием казачьих умов.

Увольнение Сидорина от должности и его отъезд из донского района совершились столь стремительно, что никто не успел опомниться.

Среди казачьей массы командарм был довольно популярен. В период войны он часто появлялся на фронте. Под Екатеринодаром даже оказался в передовой линии и едва не попал в плен. Всем нравились его мягкость и доступность, лишенные претензий на дешевую популярность. Нет сомнения, пожелай он в Евпатории сопротивляться, как советовал ему ген. Карпов, казачьи массы, настроенные против дальнейшей войны, пошли бы за ним.

Безропотной сдачей своей позиции он как бы указывал на невозможность сопротивления, или же расписывался в неправоте своих убеждений. Так или иначе, отсутствие решимости у вождя было налицо, военное же сословие беззаветно идет только за людьми решительными.

Если Добровольческая армия обладала свойством губки, т. е. быстро распухала и быстро сжималась, то донское казачество в период Гражданской войны выявило свою способность необычайно легко разлагаться и затем столь же быстро воскресать, как феникс из пепла. Воспитанная в казарме, эта военноморемедельская каста совершенно расхлябывалась, когда не чувствовала над головой кулака и не слышала решительного окрика. Когда находились авторитетные, крепкие духом вожди, она быстро обращалась в христианский вид и хорошо умела «гарнизоваться».

Под влиянием новороссийской катастрофы у казачества начало пробуждаться сознание того, что с самого начала Октябрьской революции оно встало на неправильный путь, ринувшись с оружием в руках против советской власти. Чтобы это сознание могло перей-

ти в твердое убеждение, а тем более вызвать решимость постоять за него, нужен был моральный авторитет вождя. Правда, штаб командарма издавал газету, которая как бы одобряла казачьи настроения. Но военное сословие привыкло выслушивать своих вождей не через газетную болтовню, а через твердые, решительные приказы.

Таким языком хорошо умел говорить Врангель.

Приводя все к одному знаменателю, он оставил донцам видимость автономии, в действительности же обратил их в слепое орудие своего владычества. Его твердый голос и смелая расправа с Сидориным произвели сильное впечатление. Протеста со стороны командарма не последовало, атаман шел рука об руку с Врангелем, и простым смертным приходилось вытягиваться в струнку, братъ под козырек, есть начальство глазами и говорить: «Слушаю-с!» Слепое повиновение опять стало заменять расхлябанность; ругань по адресу Добровольческой армии сменилась мечтами о походе на Дон и о «зипунах», толки о мире — разудалой песнью:

Нам с Лениным не жить.
Не трудитесь даром:
Казака не примирить
С советским комиссаром.

В этом быстром переходе от развала к покорному подчинению всецело сказалась старая военная косточка.

Началось переформирование армии в корпус, которое совершенно отвлекло мысли от политиканства. Малочисленные дивизии стали стягиваться в полки, вследствие чего множество должностных офицеров остались за бортом. До Крыма в казачьих частях не было недостатка в рядовых. Поэтому офицеры занимали только командные должности, не так как в Добровольческой армии, где при полках даже существовали особые офицерские роты, а в прочих число солдат редко превышало число офицеров. Теперь и у донцов появился избыток комсостава и недостаток в рядовых бойцах.

Оставшихся за флангом офицеров зачисляли в резерв, на полу-голодное существование и нудное прозябанье в Евпатории. Чтобы избавиться от ненужного теперь хламу, всем желающим была предоставлена возможность уйти в отставку и выехать за границу в качестве «гостей английского короля». Концентрационные лагеря на Принцевых островах (против Константинополя), на Мальте, в Египте и на Лемносе гостеприимно принимали всех, потрудившихся на благо Англии, за проволочную сеть, охраняемую сипаями.

Особая комиссия начала свидетельствовать тех, кому улыбались английские лагеря, и, конечно, всякого признавала больным. У многих врачи открыли такие недуги, о существовании которых сами «отставные» не подозревали.

— Ради бога, скажите, что у меня за болезнь? — обратился один раз ко мне знакомый сотник, показав медицинское свидетельство, в котором болезнь была поименована по-латински. — Чего-то тут мне прописали, а что — не сказали. Хоть для интереса-то надо узнать.

Другие, чтобы пробраться через Европу в окраинные губернии, превратившиеся теперь в самостоятельные республики, добывали в соответствующих консульствах паспорта и визы. Все, чьи фамилии оканчивались на *ский* и *ич*, превратились в поляков. Некоторые из них задержались в Крыму и в период успехов Врангеля снова обрусили, чтобы поступить на службу, и только уже в Константинополе, по окончании этой авантюры, окончательно ополячились. Некий полковник Василий Илларионов, типичный «козуня», обратился в литовца.

— Уж лучше взять паспорт в Литву или Эстонию, — говорили эти иностранцы, — чем отправиться «на луну». В резерве публика все равно начнет подыхать с голода.

Это предсказание скоро сбылось.

На почве сведения нескольких прежних частей в один полк не обошлось без скандалов. Чтобы сохранить память о полках, наиболее отличившихся в предшествовавший период Гражданской войны, их уцелевшие кадры оставляли в целости, добавляя к ним остатки от других полков. При этой операции дала себя знать с отрицательной стороны территориальная система комплектования казачьих частей. Простые казаки, влитые в другую часть, уже не находили здесь своих односостаничников и теряли своих начальников-земляков, которым приходилось уходить в резерв. Поэтому переформированные части долго не могли «сбиться», пришлый элемент относился недоверчиво к незнакомым начальникам, шло глухое брожение. Однажды из сел. Саки (известный грязелечебный курорт в 20 вер. от Евпатории) бежало свыше 30 казаков с шестью офицерами, не желая влияться в другой полк. Мало того, что бежали, привели в негодность свои пулеметы, унеся замки. Эта банда, во главе которой стоял войск. старш. Пономарев, два месяца занималась в горах грабежами в качестве «зеленых» и, наконец, сдалась правительенным войскам, выговорив себе прощение грехов.

Остатки мамонтовского корпуса свели во 2-ю Донскую дивизию. Ее составляли Калединовский, Назаровский, Ермаковский и Платовский полки, во главе которых стояли лихие участники мамонтовского рейда. Калединовским полком командовал безрукий полковник Чапчиков, парень лет 25; Платовским — столь же молодой ген.-майор Рубашкин. Оба были Шкоро в миниатюре. Их имена пестрели в реестрах решительно всех судебных учреждений Крыма. Впервые фамилию Чапчикова я узнал из жалобы одного члена Верховного круга*, которого вождь калединовцев до полусмерти избил ногайкой в Туапсе.

* Так называлось представительное учреждение в кратковременный период существования объединенного южнорусского правительства.

Чтобы подбодрить этих лихих налетчиков, Осваг пустил устный и печатный слух о том, что советская власть отдала распоряжение уничтожать всех мамонтовцев, безразлично, как они окажутся в руках красных: добровольно ли сдадутся или попадут в плен. Сознавая свои грехи перед русским народом, многие участники грабительского рейда поверили этому известию. Впоследствии 2-я Донская дивизия прогремела, мужественно сражаясь против Красной армии. Это было мужество отчаяния.

В общем, худо ли, хорошо ли, но донские части возрождались. Настроив себя на боевой лад, казачьи строевые начальники стали готовиться к походу. Эта подготовка прежде всего сказалась в заботах об обеспечении себя экипажами. Началась самовольная реквизиция лошадей, столь необходимых населению теперь, с приближением лета.

Кое-где посвистывали ногайки. В сел. Ак-Мойнаки генерал Герасимов публично выпорол немца-колониста, возмущавшегося поведением войск.

Возрождалась армия, возрождались и ее пороки, безнадежно губившие Белое движение.

Настала весна. Весело засияло южное солнышко.

Казаки обогрелись и заскучали по своим хуторам.

— Летом всегда наша берет! — рассуждали они.

Детям степи наскучило евпаторийское сиденье у моря. Разудалой казацкой душе снова хотелось в степь, гарцововать на коне, рубить головы и «партизанить»*.

Зимние страдания были забыты на время. Назойливые мысли о будущем отошли на второй план весною, когда каждый кустик ночевать пустит. О будущем просто не хотелось думать.

Надо отдать справедливость Врангелю: он сумел атрофировать казачье сознание.

Пробуждение его началось только в изгнании.

VI Опытная ферма

В одном из своих приказов ген. Врангель строил такой план захвата в свои руки всей России:

«О стремительном шествии на Москву не может быть речи. Сначала надо показать народу, что мы из себя представляем и что несем с собой. Если идти с той неопределенной программой, с какой шел Деникин, если у нас будет царить та же разноголосица, как и прежде, если отношение армии к населению останется прежнее, — провал обеспечен. Для избежания этого надо дать точную формулировку

* Грабить.

того, за что мы боремся, объединиться всем на этой платформе, обеспечить население от произвола войск. Только тогда русский народ будет охотно вступать в ряды армии и сражаться против большевиков, когда воочию убедится в преимуществах белого режима перед красным. Поэтому в том районе, который занимает армия, необходимо завести образцовый порядок, водворить строгую законность, искоренить всякий произвол. Когда население соседних мест, еще занятых красными, услышит и узнает о благоденствии народа в южно-русском государстве, оно постепенно будет восставать против насильников и присоединяться к нам. Сама Красная армия, состоящая преимущественно из крестьян, будет переходить на нашу сторону. Таким способом, медленным, но верным, нам удастся в конце концов освободить всю Россию».

Покамест южнорусское государство составлял один Крымский полуостров, часть Таврической губернии. Эти-то шесть уездов и должны были явиться для русского народа «образцовой фермой», как однажды в разговоре со мной очень метко выразился ген. Сидорин.

«За что мы боремся? — гласило широковещательное воззвание Врангеля к «русским людям». — Мы боремся за наши поруганные святыни. Мы боремся за то, чтобы каждому крестьянину была обеспечена земля, а рабочему его труд. За то, чтобы каждый честный человек мог свободно высказывать свои мысли. За то, чтобы сам русский народ выбрал себе хозяина. Помогите мне, русские люди».

Слово «хозяин» писалось аршинными буквами. Для заграницы оно обозначало учредительное собрание, для крестьянства, которое, по мнению сливок русского общества, спит и во сне видит батюшку царя, это был монарх.

Раболепное, услужливое духовенство раньше всех начало именно таким образом расшифровывать этот таинственный термин и, разумеется, наметило в хозяины «болярина Петра». Честолюбивый Врангель для виду стыдливо возражал против своей кандидатуры в Петры IV-е.

Выставив такую, как ему казалось, определенную идею борьбы с большевизмом, он начал приглашать для сотрудничества «честных людей».

— В до-Крымский период войны, — говорил он в Симферополе представителям прессы, — слишком много занимались политикой. Стратегия приносилась в жертву политике, а политика была никуда не годная. Дело дошло до того, что мы воевали с поляками и грузинами и чуть-чуть не начали войны с казаками. Теперь этого не будет. Я приму сотрудничество решительно всех, кто борется против большевиков, пусть будут это меньшевики или эсэры, поляки или финляндцы.

Чтобы подчеркнуть солидарность с поляками, он отправил в Варшаву своего представителя. Петлюра тоже удостоился врангелевского

внимания. Малообразованный ген. К. А. Присовский был назначен «генералом для поручений по украинским делам». Сообщения с другим украинским борцом против советской власти, неуловимым бандитом Махно, были менее удобны, чем с приютившимся у поляков Петлюрой; кроме того, и в белом стане Махно считался обыкновенным налетчиком и громилой. Изобретательный барон вывернулся. Осважная пресса со всем усердием начала напевать о том, что Махно — идейный борец против большевиков и что Деникин совершил громадную ошибку, не сумев привлечь батьку к совместной боевой работе. Информаторы же довольно удачно пустили слух о батькином посольстве к Врангелю, о заключении с ним форменного союза, об отправке к нему одного полковника-генштабиста для руководства боевыми операциями. Заодно уж прибавлялось о производстве Врангелем батьки прямо в генерал-майоры. К довершению всего в официальных крымских газетах стали появляться время от времени «оперативные сводки штаба войск Махно».

Чтобы рассеять всякое сомнение крестьян относительно земли, было объявлено о начале работ по составлению земельного закона. Его опубликовали в готовом виде после перехода армии в наступление. Сущность аграрной реформы сводилась к принудительному отчуждению частно-владельческих земель и переходу их к крестьянам при посредстве выкупной операции. Частные владельцы получали от правительства деньги, а крестьяне обязывались выплачивать ему ежегодно, в течение 25 лет, по одной пятой части урожая, так что стоимость земли определялась пятикратным урожаем.

Проведение в жизнь этого закона, утвержденного бароном Врангелем, затем одного из богатейших помещиков Днепровского уезда Таврической губернии, Иваненко, возлагалось на другое сиятельное лицо, тоже местного помещика, графа Татищева, в районе же, который потом заняла армия, перешедшая в наступление, возлагалось на графа Гендрикова. Такой букет титулованных особ не мог вселить доверия в крестьян и не мог убедить их, что этот закон не простая приманка.

Объявив себя правителем Юга России и сформировав по-прежнему пестрое, «деловое» министерство, под председательством бывшего царского министра Кривошеина, при участии бывшего революционера П. Б. Струве, Врангель свое воинство наименовал «Русской армией». Названия «Добровольческая армия» или «Добровольческий корпус» упразднялись, чтобы положить предел разъединению внутри армии, так как войска собственно Добромии, корниловцы, дроздовцы, марковцы и алексеевцы, чересчур высоко задирали нос и смотрели свысока на недобровольцев. Их претензии, чванство и кичливость, обидные для других, проистекали от их происхождения от «героической корниловской армии, совершившей Ледяной поход, перед которым бледнеет описанное Ксенофонтом отступление 10 000 греков».

Теперь все войска, не исключая и казачьих частей, составляли единую армию, подчиненную одному вождю и одним законам. У Донского атамана осталось только право инспектировать свой корпус и производить в чины не выше полковника. Донские военно-судебные установления ставились под надзор Главного военного прокурора Врангеля.

Для монолитной, заново отделанной армии, поставившей новые цели войны, уже не было места старым отличиям, которые Деникин так щедро сыпал направо и налево, что в его штабе существовало два наградных отделения. Надлежало создать такой орден, который оттенял бы новый, врангелевский период Гражданской войны и выражал бы новую идею борьбы. По совету своего молитвенника, епископа Вениамина, Врангель вскоре же по воцарении объявил положение об ордене святого Николая Чудотворца, отдавая себя и свое воинство, ринувшееся в священную борьбу, под покровительство этого прославленного чудесами святого. Новое отличие ставилось наравне с Георгиевским крестом царских времен, но влекло большие материальные выгоды, в том числе и земельные пожалования. Обещание реальных благ должно было вызвать моральный подъем и героические порывы.

Преобразовав армию, вождь позаботился о защите мирного населения от ее произвола. Чтобы пресечь в корне грабежи, самочинные реквизиции и всякие обиды жителям со стороны войск, были созданы особые военно-судебные комиссии, а стяжавшие печальную славу судебно-следственные комиссии по делам о большевиках совершенно упразднялись. Расследование дел о большевиках поручалось усовершенствованной контрразведке, которая ставилась под надзор прокуратуры. Осваг тоже не пользовался популярностью. Его переименовали в информационное отделение, оставив сущность без изменения. Объявлялась беспощадная борьба со взяточничеством, канцеляршиною, бюрократизмом и т. д., и т. д.

Вертясь, как белка в колесе, и заливая Крым морем приказов, Врангель не подумал о том, осуществима ли его греза об идеальном государстве в условиях того момента. Возможно ли было устроить государство на манер образцовой, показательной фермы на клочке Таврической губернии, где число солдат, чиновников и паразитов равнялось, если не превышало, числу крестьян и рабочих, где имелся самый недоброкачественный, неспособный к творческой работе чиновничий элемент, где противник уже стоял на пороге и где никто не верил в серьезность и прочность всей этой затеи.

Самое ближайшее будущее показало, что вождь строил здание на песке. Временный, чисто случайный успех его оружия в два счета сменился полным поражением, и от широчайших замыслов осталась одна пыль.

Врангелю удалось отправить в бой двадцать тысяч людей, поставленных в безвыходное положение. Но для увлечения за собой

всей России одних приказов и прекраснодушных пожеланий было мало. Лукавая политическая программа, т. е. учредительное собрание для отвода глаз, а на деле самодержавный царь, лучше всего выявляла истинные намерения нового вождя. Его раскусили сразу все, да и раскусить было не трудно, и никто не хотел верить ни его земельному закону, ни всем другим благим начинаниям. Обман и очковтирательство сквозили во всей его политической деятельности. По легкомыслию он думал провести всех. На деле ничего не вышло.

Кто являлся исполнителем всех благих мероприятий нового вождя, на какие слои общества он опирался в своей правительственной деятельности? А ведь исполнители законов играют не меньшую роль, чем сами законодатели. Самый благой закон, пройдя через преломляющую среду исполнителей, нередко вместо пользы приносит вред. Врангель всех звал за собой, но не для совместного сотрудничества, а в услужение себе. Аристократ и вместе с тем солдат, он мог быть только самодержцем. Свое властвование он начал с разгрома донских сепаратистов. Это послужило сигналом к тому, чтобы все политические деятели левого толка, вроде Н. В. Чайковского⁸, поспешили подобру-поздорову унести из Крыма свои ноги.

Остатки старой бюрократии, старых жандармов и полицейских, лицемерных попов и развращенных Гражданской войной офицеров, т. е. все те элементы, которые были опорой царизма и грехи которых создали революцию, Врангель хотел использовать для создания угодной русскому народу России.

Ясно, что при всем своем критическом отношении к Деникину Врангель в Крыму производил не более как гальванизацию трупа белого стана, который, в свою очередь, представлял совокупность старой ветоши. Позже он и сам признался в этом журналисту Г. Н. Раковскому, о чём последний сообщает в своей книге «Конец белых».

Его попытка воскресить с помощью паллиативных мер то, что было осуждено на гибель всем ходом русской истории, с самого начала не могла предвещать успеха. В лице Врангеля старая Россия, поддержанная французским капиталом, делала последнюю ставку в своей смертной борьбе с Октябрьской революцией.

Никак нельзя отрицать, что барон наряду с безумным, чисто наполеоновским честолюбием обладал энергией, решимостью, даже политической изворотливостью. Но при всем том в условиях 1920 года эта последняя ставка павшего социально-политического строя уже была несерьезная.

Большевики шутя ее выиграли.

VII

Процесс донских генералов

Приблизительно в то время, как в Крыму происходила расправа с донскими генералами, в коридорах Ростовской тюрьмы произошла неожиданная встреча двух видных деятелей белого и красного станов, талантливого южнорусского публициста Виктора Севского и известного конника Думенко⁹, отданного советской властью под суд за произвол. Прихоть судьбы и тюремные своды сблизили двух недавних врагов. Зашел разговор о причинах неудач белых.

— А у вас за всю Гражданскую войну был ли расстрелян хоть один генерал? — спросил Думенко.

— Нет, не был.

— Ну, так в этом и таится объяснение ваших неудач. Действительно, за время Гражданской войны на Юге России не только ни один из служащих генералов не был расстрелян, но даже и не сидел на скамье подсудимых. Шли грабежи, совершались бесследные убийства, творились неслыханные насилия, казнокрадство превысило все допустимые человеческим воображением пределы, но в военных судах в качестве подсудимых фигурировали только бессловесные Фильки и в редких случаях Иван Иванычи из штаб-офицеров, не имевших «заручки». Генералитет тогда принадлежал к числу святых деникинского рая, идущего на смену большевистскому аду.

Исключение составляло только несколько генералов, перешедших из Красной армии. Для проформы их судили, как, напр., ген.-лейт. Болховитинова¹⁰, начальника штаба кавказского фронта в мировую войну. В начале Октябрьской революции этот генерал поступил на службу к красным, но затем бежал к Деникину. Он был предан военно-полевому суду и даже присужден к смертной казни, но, разумеется, потом помилован и закончил свою карьеру в стане белых военным министром последнего кубанского правительства.

Затем, в том же суде, судился генерал Батог¹¹, военный прокурор юго-западного фронта в мировую войну, вся вина которого состояла в том, что он производил расследование о Корниловском мятеже по распоряжению Временного правительства. Батога приговорили к 4-м годам арестантских отделений. Но даже и ему, с которым Деникин сводил теперь старые счеты, это наказание заменили более легким.

В Крыму Врангель усадил на скамью подсудимых генералов Сидорина и Кельчевского.

В это лихорадочное время самые крупные события занимали внимание общества всего какую-нибудь пару дней. О смещенных донских генералах забыли очень скоро. Теперь вдруг их имена снова всплыли на поверхность взбаламученного общественного моря.

1 мая меня совершенно неожиданно навестил видный член донского войскового круга, полковник-генштабист С. К. Бородин, тот

самый, который писал в «Донском вестнике» такие боевые статьи против идеологов Добровольческой армии. Впоследствии полученное им от Врангеля генеральство обратило этого казачьего политического деятеля в самого верноподданного.

— Генералы Сидорин и Кельчевский просят вас взять на себя их защиту в военно-морском суде, — сообщил он мне.

Я в это время заведовал военно-судебной частью штаба Донского корпуса, только что сдав должность военного прокурора Войска Донского своему товарищу А. В. Попову, казаку по происхождению, произведенному в генералы Богаевским 30 марта и ставшему выше меня чином. Новая должность, юрисконсультская по преимуществу, не возбраняла мне выступать защитником в суде.

— Как? — удивился я, — разве они под судом?

— Под судом... Я только что прибыл из Севастополя, где их видел. Врангель распорядился.

— В чем же они обвиняются?

— Толком я и сам не мог этого понять. Суд, имейте в виду, назначен на послезавтра. Если берете защиту, — спешите. Впрочем, вам, быть может, будет не совсем удобно выступить?

— Это почему?

— Судебное начальство, главный врангелевский прокурор генерал Ронжин, настроен крайне враждебно против наших генералов.

Я улыбнулся.

— А где же вы видели, чтобы прокурор относился доброжелательно к своим жертвам? Здесь же для злобы есть и личная причина. Ронжин — родственник ген. Лукомского, бывшего председателя особого совещания, которое вы разделявали под орех в «Донском вестнике».

Вскоре мне принесли телеграмму из Севастопольского военно-морского суда с уведомлением, что подсудимые генералы Сидорин и Кельчевский избрали меня своим защитником.

Молва о предании суду опальных донских вождей быстро облетела город. Многие думали, что их будут судить за какие-нибудь хозяйствственные грехи. О политической подкладке процесса мало кому приходило в голову.

На следующий день в Евпаторию прибыл специальный катер за свидетелями. От судейского чиновника я только узнал, что дело разбирается в спешном порядке, так как Врангель неимоверно торопит.

Часов около шести вечера я прибыл на пристань, возле которой болтался наш катер, приспособленный развозить нефть в Севастопольском порту, но совершенно негодный для пассажирского движения.

Группа донских генералов и чинов штаба толпилась на пристани. Тут я увидел известного донского вояжу «стопобедного» генерала

А. К. Гуселыцикова; двадцатитрехлетнего генерала Г. И. Долгопятова, дельного малого, который в течение всей Гражданской войны ни на один день не покидал фронта, и многих других. Но, что меня более всего удивило, — я увидел тут же Бориса Ратимова. Благообразная, стильная борода его и статский костюм резко выделялись среди бритой военщины.

«Ну, а этому-то что надо? — подумал я, в то время еще совершенно не зная роли евпаторийского осважника в сидоринском процессе. — Интервью, что ли, хочет иметь с кем-нибудь из нас?»

Сразу замечалось, что Ратимов чувствовал себя не в своей тарелке. Его несколько прищуренные глаза перебегали с одного предмета на другой. Порою они останавливались и вдруг окидывали наглым, вызывающим взглядом донское офицерство.

— А вы разве тоже свидетель? — обратился я наконец к нему.

— Да, тоже! — отрывисто ответил Ратимов, несколько смущаясь.

Когда же я сказал, что еду в качестве защитника, он, под благовидным предлогом, прервал разговор и отошел в сторону. Вскоре на пристани появился комендант Евпатории ген. Ларионов, который знаками вызвал к себе Ратимова из толпы донского офицерства, и оба они куда-то скрылись. Как потом оказалось, они сели на какое-то другое судно, не рискуя отправиться вместе с донцами.

— Нечего сказать, хорошее судно прислали за донскими военачальниками, — возмущался Бородин. — Везде и во всем Доброволия хочет подчеркнуть свое пренебрежение к Дону. Стараются лягнуть, где только можно. А сами от начала до конца обязаны своим существованием донцам. Когда весной позапрошлого года их разбили под Екатеринодаром и они, потеряв Корнилова, отступили жалкой ордою, где нашли пристанище? На Дону, который к тому времени организовался. Мы, казаки, из сил выбивались, пока они отдыхали и приходили в себя в Мечетинской. А потом разбухли и зазнались.

Матросы катера оказались любезнее приспешников Врангеля. Они предоставили донским генералам свои неуютные логовища на полках. Прочие свидетели легли прямо на грязный пол трюма. Я улегся на палубе на пропитанные нефтью канаты и погубил свое пальто. Вдобавок подул ветер и пошел дождь. Глаз не пришлось сомкнуть и течение всей ночи, зато вымок до костей.

Портовой катер оказался с испорченной машиной, и мы шестидесятиверстный путь проделали в 9 часов.

Уже взошло солнце, когда остановились у Графской пристани. В 8 часов утра я наконец добрался до военно-морского суда, где через два часа должно было открыться заседание. Предстоял крупнейший процесс двух крупных фигур белого стана, руководивших в течение 15 месяцев отдельной стотысячной армией, а я, их защитник, перед самым началом дела еще не знал, какое предъявлено моим подзащитным обвинение.

Около 10 часов утра прибыл ген.-лейт. Селецкий, назначенный председателем особого присутствия суда, которое должно было судить вождей Дона.

— Вот вам следственное производство, ознакомьтесь, но имейте в виду, что, как все будут в сбре, — я открываю заседание.

— Но ведь за каких-нибудь полчаса я не успею даже разжевать обвинительного акта.

— Уж, батенька, как хотите... Нам надо спешить...

Врангель нас замучил с этим делом.

Я попробовал было сослаться на военно-судебный (процессуальный) устав.

— Там прямо сказано, что защитнику должно быть дано время для ознакомления с делом.

— Что вы, что вы, батенька! — суетливо залепетал генерал. — Бросьте, пожалуйста, эти глупости. Какие там уставы, когда торопит сам главнокомандующий.

Тут мне невольно вспомнились слова одного моего старого начальника, прокурора Кавказского военноокружного суда, внедрявшего в меня семена истинной законности, когда я рассердил высшее начальство, указав ему по неопытности на необходимость соблюдать закон:

— Закон, конечно, дело хорошее и исполнения его надо требовать, но только от тех, кто не выше закона. Ну а разве вы можете заставить поступать по закону нашего августейшего главнокомандующего*. Да он вас одним взмахом в порошок сотрет... Мокренского от вас не останется. Знаете, по закону сами прокуроры следствий не производят, но прикажи он мне, так я сейчас же, хоть в одной рубахе, полечу на следствие.

Усевшись в крошечном председательском кабинете, я начал бегло просматривать предварительное следствие, чтобы хоть как-нибудь уловить суть дела.

Бессмысленный сидоринский процесс возник следующим образом.

Журналист Б. Ратимов, оскорблённый отношением к нему донских властей и озабоченный падением тиража своей газеты, отправился искать по Крыму управы на донских самостийников и «изменников». В Симферополе он побывал у ген. Кутепова, представил будущему «Инжир Паше» первые номера «Донского вестника», передал ему свою беседу с донскими генералами, умолчав лишь о своей просьбе субсидировать его, и сообщил все сплетни, какие ходили в Евпатории по поводу «измены» в донском штабе.

— Там ругают на чем свет стоит ген. Деникина... Вас называют главой преторьянского корпуса... Хотят мириться с большевиками.

* Вел. кн. Николай Николаевич, командовавший Кавказским фронтом с осени 1915 г. до революции.

Кутепов, который в это время украшал симферопольские улицы трупами повешенных рабочих, пришел в ужас.

— Главарями измены, — продолжал Ратимов, сообщая слухи, почерпнутые в кофейнях, а может быть, и вымышенные им самим для усиления впечатления, называют штабную группу в 12 человек, во главе с Сидориным. У них есть тайные сношения с донской бригадой ген. Морозова, которая уже полгода работает у Слащёва на Перекопе. Назначен день, когда Морозов пропустит советскую армию через свой фронт в Крым.

Надменный, мелочной Кутепов еще никак не мог забыть того времени, когда он, глава добровольцев, подчинялся донскому командарму и терпел уколы по самолюбию. Всерьез он не мог верить, что в донском штабе гнездится измена. Но для него представлялся случай сделать пакость Сидорину, и он им воспользовался.

Добившись, с помощью Кутепова, личной аудиенции у Врангеля, Ратимов и здесь доказал, как дважды два четыре, измену донцов, на основании полдюжины газетных статей и короба базарных слухов. Вдобавок он подал главкому два письменных «доношения», в которых излагал опасную для дела восстановления Святой, Великой, Единой и Неделимой самостийной казачью идеологию и письменно подтверждал все, что говорил на словах.

Врангель, который за множеством дел не обращал внимания на Евпаторию и отлагал увольнение Сидорина до удобного момента, теперь сразу взбеленился. Доклады Ратимова давали ему все, что требовалось для расправы над зазнавшимся донским феодалом. Он немедленно вызвал к себе донского атамана и тут же на «доношении» Ратимова набросал черновик приказа о предании военно-полевому суду графа Дю-Шайла, об отрешении Сидорина и о назначении следствия.

В период Гражданской войны при главнокомандующем вооруженными силами Юга России была учреждена должность военного следователя по особо важным делам. Особо важные дела — это те, которые почему-либо интересовали главкома. О беспристрастности при ведении этих дел не могло быть и речи. Следователю больше всего приходилось думать над тем, чтобы угадать тайные желания главкома, т. е. имеется ли у него серьезное намерение покарать виновного или хочется покрыть его грехи.

Действ. стат. сов. Гирчич всей своей предшествовавшей деятельностью был подготовлен к этой роли.

Он принадлежал к не совсем славной стае птенцов щегловитовского гнезда, занимая до революции должность судебного следователя по особо важным делам при Харьковской судебной палате, т. е. по делам политическим, причем ему приходилось работать рука об руку с охранным отделением. На этих делах судейские в то время создавали себе карьеру.

Гирчич, перерыв бумаги графа Дю-Шайла, наткнулся на черновик доклада, озаглавленного «Пути казачества». Для смекалистого человека это была целая находка.

«Блок с эсэрами налицо. Этот доклад — программа донского командования. Издание газеты — шаг к ее выполнению. В итоге — чистейший вид измены делу вооруженной борьбы с большевиками», — мелькнуло в голове старательного жреца правосудия.

Базируясь на подобных субъективных выводах, не покоившихся на фактических данных, он привлек ген. Сидорина и графа Дю-Шайла, прихватив с ними заодно и Кельчевского, по обвинению в государственной измене.

Дю-Шайла в это время лежал в лазарете, так что расправа над ним с помощью военно-полевого суда не могла осуществиться. Опросив его, Гирчич отправился к генералам предъявлять обвинение, не вполне уверенный, что вернется домой в целости.

— А позвольте полюбопытствовать, вы немного того... не рехнулись? — спросил его Кельчевский.

Сидорин только рассмеялся.

Такого деликатного отношения Гирчич не ожидал. Пять месяцев спустя Слащёв в аналогичном случае распорядился спустить его с лестницы*.

Окрыленный миролюбием бывших феодалов, птенец щегловитовского гнезда рискнул даже избрать им мерой пресечения домашний арест. Брангель освободил их под поручительство донского атамана.

Серьезное обвинение требовало серьезных улик, иначе в гласном суде прокуратура могла сесть в лужу. Но улик не было, тем более что доклад «Пути казачества» выражал личное мнение графа Дю-Шайла и не удостоился утверждения со стороны донского командарма. При всей своей служливости, главный военный прокурор ген.-лейт. Ронжин увидел необходимость отделить дело о графе Дю-Шайла от дела о генералах. В конце концов последних предали суду по обвинению в бездействии власти, выразившемся в разрешении издавать при штабе газету, которая:

- 1) сеяла рознь между казаками и добровольцами;
- 2) проводила мысль о необходимости мира с большевиками;
- 3) разлагала Донскую армию,

причем последствием всего этого явились серьезные беспорядки в донских частях, т. е. в деянии, предусмотренном последней частью 145 ст. воинского устава о наказаниях.

Беспорядки, как последствие агитации «Донского вестника», были просто взяты с ветру, рассудку вопреки, наперекор стихиям. Но этот признак требовался для того, чтобы подвести преступление

* Слащёв-Крымский. Требую суда и гласности. Константинополь, 1921.

подпоследнюю часть 145 ст., так как только в этом случае бездействие могло повлечь смертную казнь.

Ген. Богаевский, который еще и до сего времени титуует себя за границей «носителем верховной власти Всевеликого Войска Донского», в Крыму покорно санкционировал все, что ему преподносили Врангель и виртуоз судебного ремесла ген. Ронжин.

Глава казачества ни словом не обмолвился об основных законах своего государственного образования, по которым в Войске Донском существует своя судебная власть*, равно как и о том, что, по договору Деникина с Красновым в Кущевке, донской командарм подчиняется главнокомандующему только в оперативном отношении и, следовательно, не может быть им предан суду. Это надо было сделать хотя бы для очистки совести и для охраны собственного престижа.

Африкан Богаевский везде пасовал. Глава «демократически организованной окраины» очень любил внешний почет и всякие прочие блага, вытекающие из атаманского сана, но он был слишком труслив и робок, чтобы высоко держать свое атаманское достоинство и отстаивать свои права от покушений со стороны. Трепеща перед Врангелем, он бесславно сдался ему на капитуляцию и выдал Сидорина на расправу добровольческим держимордам. Несомненно, некоторую роль тут сыграла его давнишняя боязнь честолюбивого командарма, который не скрывал своего презрения к ничтожному атаману и называл его чуть не в глаза «божьей коровкой».

Другие называли атамана не иначе как «Афря-фря».

Казалось, в таком громком процессе, единственном за всю Гражданскую войну, ревнители правового строяна Руси должны были воочию показать преимущества своего суда. Если Крым представлялся опытной фермой для правительственные экспериментов белого вождя, а будущая крымская эпопея — показательным методом ведения Гражданской войны, то суд над Сидориным и Кельчевским должен был дать наглядный пример беспристрастного врангелевского правосудия. На деле получился комплекс вопиющих судебных правонарушений, отлично доказавший как инсценированность этого процесса, так и истинную ценность того правового строя, который хотел насадить Врангель. На этом образце как нельзя лучше выявилось обычное для старой России обращение военного суда в орудие политической мести и сведения личных счетов.

Гражданские суды, деятельность которых сильно сократилась уже в мировую войну, в эпоху внутренней распри совершенно стушевались в белом стане, обнаружив сложность и громоздкость своего аппарата. Действенными органами правосудия служили суды военно-полевые, всецело находившиеся в руках начальства, и военно-окружные или

* Подчинение донских военно-судебных установлений Глав. воен. прокур. Юга России произошло уже после суда над Сидориным.

равные им по компетенции корпусные суды, в которых руководили процессом военные юристы. Этот так называемый, в противоположность чрезвычайному, военно-полевому, «нормальный» военный суд тоже переживал теперь стадию разложения.

Выбитые из рамок обычной жизни, служа большей частью без всякой идеи в белых армиях, а лишь ради куска хлеба, военные юристы кое-как тянули свою лямку, чтобы только не остаться без места, или превращались в Гирчичей. Они и ранее, по условиям военного быта царской эпохи, не пользовались судебной независимостью и находились под большим влиянием высшего военного начальства. Теперь их роль стала совершенно подчиненной, особенно Добровольческой армии, где господствовал вполне самодержавный строй.

Среди всеобщего развала и грязи взбаламученного моря многие жрецы военной Фемиды сами поскользнулись и полетели вниз по наклонной плоскости. За примерами ходить очень недалеко. Председатель 2-го корпусного суда Добровольческой армии ген.-майор И. А. Панов сам попал под следствие за предосудительные спекуляции и умер от разрыва сердца в ожидании суда. Одним из первых актов правительственной деятельности Врангеля в Крыму было изгнание председателя главного военного и военно-морского суда генерала от инфантерии Дорошевского за целый ряд непозволительных художеств. Этот престарелый сановник (он и при Керенском занимал ту же должность), отдыхая на курорте в Евпатории с молодой супругой, заставлял чинов полиции добывать ему «по дешевой цене» окорока, масло, яйца и т. д.

— Вы умеете, вы знаете, как это сделать... Постарайтесь для председателя главного военного суда, может, пригожусь! — говорил он вытянувшимся перед ним полицейским, давая им столь малую сумму денег, что тем ничего другого не оставалось, как идти и грабить торговок.

Как бы нарочно для того, чтобы выказать всю гниль, все болячки старого военного суда и утаить кой-какие его положительные стороны, вроде деликатного отношения к защите, Врангель, по представлению Ронжина, назначил председательствовать на суде над донскими вождями музейную редкость военно-судебного ведомства, ген.-лейт. Селецкого.

Это был весьма старый и весьма падший человек, морально грязный и физически, алкоголик и развратник. Мировая война задержала увольнение его в отставку. На фронте он председательствовал в корпусном суде, большую часть инвентаря которого составляли бутыли со спиртом и чемоданы генеральских «племянниц», которые у старика менялись довольно часто.

Когда в 1918 году Войско Донское организовало свой военный суд, Селецкий занял должность военного прокурора. Я был его помощником, точнее, его заместителем, так как старик предпочитал

пить мертвую, нежели работать. Однажды, в Новочеркасске, казачий патруль подобрал его на улице в таком виде, что усомнился в его генеральском звании и водворил на гауптвахту. Каково же было удивление патрульных, когда выяснилось, что это не кто иной, как высший блюститель правосудия Всевеликого войска Донского. Другой раз старик бесследно пропал на несколько дней. Наконец ему дали понять, чтобы он озабочился присканием себе другого места.

В это время, в начале 1919 года, Добровольческая армия тоже приступила к организации военно-судебного дела, во главе которого стоял ген. Ронжин, старый товарищ Селецкого. Последний был принят в Доброволии как желанный гость.

В те времена порочному элементу жилось весьма недурно. Прощтрафившись в одном государственном образовании, можно было свободно перекочевать в другое, где только случайно могли обнаружить «заграничные» художества иммигранта.

В Добровольческой армии охотно принимали всякого беглеца с Дона, и тем охотнее, чем более он ругал Краснова и донские порядки.

— Надо показать этим самостийникам, что без специалистов общероссийского масштаба они пропадут, ничего не смогут сделать даже в своей области, — говоривал мне в 1919 году, в г. Ростове, помощник ген. Ронжина ген. Ив. Дор. Иванов, стыдя меня, не казака по происхождению, службой на Дону и грозя, в случае завоевания России, некоторыми невыгодными последствиями.

Прогадал или выиграл Дон от ухода такого спеца общегосударственного масштаба, как Селецкий, сказать нетрудно. Главнокомандующий же и глава его правосудия приобрели в лице Селецкого удобного судью для особых поручений.

Наряжая этого выгнанного с Дона алкоголика судить донских вождей, авторы сидоринского процесса хорошо знали, что делали.

Другими двумя членами особого присутствия севастопольского военно-морского суда Врангель назначил полных генералов А. М. Драгомирова и Экка.

Назначение первого из них составляло большое правонарушение.

В течение 1918 и первой половины 1919 года он состоял председателем деникинского правительства — особого совещания при главнокомандующем (потом его сменил ген. Лукомский) и руководил той самой политикой Доброволии, которую так беспощадно критиковала газета «Донской вестник». Участвуя в суждении тех, кого винили в допущении этой критики, он, разумеется, не мог соблюсти беспристрастия, как судья в собственном деле.

Престарелый генерал Экк в начале Гражданской войны хлопотал о поступлении в Донскую армию, но получил отказ со ссылкой на то, что на Дону стремятся к омоложению командного состава. Теперь старик подкармливался у Врангеля, который назначил его председателем «кавалерской думы ордена св. Николая Чудотворца».

Подобный состав судей мог вынести какой угодно приговор по делу донских генералов, даже без судебного разбирательства. Во время перерыва ген. Селецкий ничуть не стеснялся говорить мне о том, что оправдательного приговора и быть не может, а один раз ляпнул прямо:

— Вы, батенька, не думайте, что ваших генералов мы судим за эти глупые статейки Бородина и Дю-Шайла. Это пустячки. А вот, вот где зарыта собака (при этом он ткнул в черновик доклада «Пути казачества»). Видите, что тут черным по белому написано: «казачеству по пути только с эсэрами. В России сейчас идет усиленная работа эсэров, чтобы вызвать внутренний взрыв... Центр эсэров сейчас находится в Тифлисе». А вы знаете, батенька, кто сейчас в Тифлисе из ваших левых донцов? Небось читали в «Вечернем времени» про вашего «Красного попугая», Павла Агеева, который, вместе с двенадцатью другими членами круга, пошел на мировую с большевиками. А у вас в штабе младший Агеев, кажется, одного поля ягодка. Кто вас там знает, вдруг вы все окажетесь одна лавочка да попросите у большевиков пардону. Вот, чтобы вы там поменьше эсэрили, Врангель решил вас немножко погладить против шерсти. Хватим по башке одного, другие успокоятся.

Незадолго до открытия заседания я увиделся наконец со своими подзащитными и среди шума и суеты даже не успел выведать, какую позицию они избирают для своей защиты.

Г. Н. Раковский в своей книге «Конец белых» заставляет Сидорина произносить на суде целые речи в эсэровском духе*.

В действительности же у вождя Донской армии на суде нехватило мужества повторить перед лицом Доброволии тот же упрек в ее пагубной идеологии, который бросался по ее адресу на страницах «Донского вестника». Вместо этого он стал оправдываться и в течение двух дней процесса доказывал, что ругательный тон «Донского вестника» был им не только разрешен, но даже предписан в целях педагогических: имелось, видите ли, в виду поддакиванием казачьим настроениям вернуть доверие разочаровавшихся людей, восстановить пошатнувшийся авторитет начальства и затем исподволь взять казаков в руки, подтянуть и подготовить к новому походу.

Я плохо верил в наличие такого плана.

Из числа свидетелей первым допрашивался Б. Ратимов. Осважник чувствовал себя крайне неловко, но отрызался от Сидорина. Строго

* Невзирая на то, что в распоряжении Раковского за границей находился громадный материал, относящийся к этому процессу, последний изложен им крайне сжато, неточно и освещентенденциозно. В одном месте Раковский описывает свою беседу с ген. Ронжиным, к которому он будто бы являлся просить билет для пропуска в залу заседания. Не говоря уже о том, что с этой просьбой едва ли надо было обращаться к главе правосудия, Раковский в данном случае уходит от истины еще и потому, что он вызывался в суд по просьбе обвиняемых, как их свидетель.

говоря, его толкованием статей «Донского вестника» и передачей базарных слухов об измене в донском штабе исчерпывался весь обвинительный материал. Однако процесс длился два дня, 3 и 4 мая. Перед судом прошел ряд свидетелей, переливавших из пустого в порожнее. Больше всех публику насмешил донской атаман Богаевский, а изумил своим мужеством ген. Карпов.

Богаевский хотел удовлетворить обе стороны. Поэтому об одном и том же факте он показывал различно, в зависимости от того, допрашивал его прокурор или противоположная сторона.

— С одной стороны, нельзя не сознаться, с другой стороны, нельзя не признаться, — характеризовал его показание кто-то из Сидоринской «лавочки», кажется Раковский.

— Скажите, — задал я атаману вопрос, — а вам в Севастополь доставляли номера «Донского вестника»?

— Доставляли.

И вы их читали?

— Читал.

— Как же вы отнеслись к тем статьям, о которых мы ведем разговор на суде?

— Они, признаться, мне не нравились. Впрочем, я как-то не обратил на них внимания.

— А теперь вы находите, что они имеют криминальный характер?

— Я решил предоставить разобраться в этом вопросе беспристрастному суду.

Глава демократического государства, оказывается, сам не мог определить, что дозволено законом и что запрещено!

Ген. Карпов, начальник донской пешей бригады, не казак по происхождению, заявил с солдатской прямотой:

— Там, в Новороссийске, ведая погрузкой донских частей, я увидел насмешливое отношение деникинского штаба к казачеству. Меня ежеминутно обманывали, обещая дать пароходы донцам, а в конце концов ничего не дали,бросив казаков на произвол судьбы.

Голос молодого, полного энергии генерала звучал твердо. Его простые, по-солдатски отчеканенные слова падали, как удары молота на наковальню. Зала, полная публики, замерла. Здесь собрался цвет Доброволии во главе с врангелевским военным министром ген. Никольским. Гордо и с едва скрытой насмешкой поглядывали прилизанные, с иголочки одетые сторонники Единой и Неделимой на неуклюжих, мешковатых донских генералов, из которых не всякий умел связать пару слов. Теперь вдруг из среды этой серой генеральской массы выискался смелый трибун.

— До этого дня, до 13 марта, — продолжал Карпов, — я осуждал всякую самостийность и казакоманство. Но тут я понял, что сама Добровольческая армия толкает казаков на этот путь. Она рождает казачий сепаратизм. В этот день я понял казачью психологию, сам

стал в душе казаком и возненавидел того человека, которого раньше боготворил, — генерала Деникина.

Селецкий растерялся и не останавливал грозного обличителя.

— И я понял, — закончил генерал, — что я не могу служить при таких условиях и немедленно подаю в отставку.

Он сдержал свое честное солдатское слово. Тотчас же по возвращении в Евпаторию подал рапорт об увольнении со службы и ушел из армии, невзирая на просьбы донского начальства, не желавшего лишиться дельного, энергичного генерала.

То, что следовало бросить в глаза Добровольческой армии представителям казачества, было брошено, но, увы! не казаком; воякой, а не политическим деятелем.

Казачий политик Сысой Бородин выкручивался. Его фамилия, как автора криминальных статей в «Донском вестнике», отнюдь не должна была фигурировать в списке свидетелей. Но звание члена войскового круга спасло его от скамьи подсудимых. Врангель не хотел посягать на казачьих избранников, чтобы не прослыть в Европе врагом представительного строя.

Бородин, подтверждая позицию Сидорина, бессвязно лепетал о знании им казачьей души, о своих родственниках-пастухах, о необходимости тонкого подхода к демократам-казакам и т. д. Из слов этого политика-генштабиста выходило, что все его боевые статьи не плод размышлений идеяного человека, а ложь во спасение, не проповедь своих убеждений, а демагогия с определенной целью.

В этом знаменитом процессе, где одно южнорусское политическое течение, централистское и глубоко реакционное, производило расправу над другим, казачьим демократическим, последнее не нашло достойных представителей, чтобы смело и категорически прочитать казачий Символ веры.

Выходило так:

— Нашкодили, и в кусты. Призвали к ответу — пардону просим. Помилуйте, ругали вас для вашей же пользы.

Г. Н. Раковский в своей книге «В стане белых» пишет, что в Новороссийске ген. Сидорин, взбешенный глумлением Деникина над казаками, хотел застрелить его. На суде же донской командарм всячески пытался доказать свое всегдашнее почтительное отношение к Деникину. Для этой цели по его просьбе был вызван в суд генер.-лейт. Покровский.

Я в первый и последний раз в жизни видел этого человека, стяжавшего себе такую страшную репутацию. Небольшого роста, несколько сутуловатый, с нахмуренным лбом, с крючковатым птичьим носом, пронзительными глазами, то и дело загоравшимися злым огоньком, он производил впечатление степного хищника и, казалось, среди культурного человеческого общества чувствовал себя не по себе.

Этот препрославленный герой белого стана, правая рука Деникина, теперь был не у дел и проводил последние дни в Севастополе, в ожидании выезда за границу. Опасаясь участия Сидорина и даже несколько худшей, он жил, окруженный своей преступной «лавочкой», на какой-то вышке, превратив ее в форт Шаброль. На улицу он выходил не иначе как в сопровождении вооруженных телохранителей. Генерал-вешатель никому не хотел отдаваться живым в руки. Когда в ноябре 1922 года в Болгарии его шайка, только что совершившая убийство А. М. Агеева, была застигнута болгарскими властями на границе Македонии, Покровский предпочел смерть в перестрелке, чем жизнь в неволе.

Странная судьба выпала на долю этого человека. Летчик по специальности, он совершенно случайно попал на Кубань и в чине штабс-капитана стал командовать войсками кубанской рады.

Эта рада украсила его и генеральскими погонами. Деклассированный интеллигент, он с воинами национальной, самостийной Кубани помогал обломкам старой России восстанавливать помещичье-самодержавный строй. Единственное средство, которым он двигал своих кубанцев на это дело, была приманка грабежом. Единственный метод политической борьбы, который признавала эта бесспорно цельная, солдатски тупая и садически-жестокая натура, была расправа каленым железом и намыленной веревкой. Тем и другим он широко пользовался в своей боевой и небоевой работе, и имя этого беспощадного вешателя прогремело далеко за пределы белого стана.

Сидорин попросил его рассказать о свидании командующих армиями в Ясиноватой. Покровский, переминаясь по-горски с ноги на ногу и шевеля полами черкески, рассказал о том, как во время этого свидания Врангель возбуждал вопрос о смене главнокомандующего, но Сидорин отставил Деникина.

— Для подтверждения этого факта я просил вызвать свидетелем самого ген. Врангеля, — пояснил Сидорин, — но суд мне в этом отказал. Я уверен, что благородное сердце Петра Николаевича не допустило бы его отказаться от того, что было говорено в Ясиноватой.

Наконец мрачная фигура ген. Покровского отступила назад.

Два офицера-ингуша тотчас же заняли свои посты за его плечами, готовые вмиг зарезать всякого, кто захотел бы схватить их вождя.

— Какой неприятный человек! — заметил я во время перерыва А. М. Агееву. — Генеральша Шкуро много рассказывала мне про его зверства в Кисловодске, но я никогда не думал, что и вид у него такой тяжелый.

— Да, плохо тому, кто встанет на пути этого человека. Ох, не хотел бы я быть его врагом, — ответил Агеев, знавший Покровского больше меня.

Он не ошибся. Спустя два с половиной года он встал на пути Покровского, готовившего в Варне небольшой десант для высадки

на Кубани, разоблачил эту авантюру в эмигрантской прессе и пал на моих глазах от руки черкесов Покровского.

Моя роль во время сидоринского процесса была довольно пассивная. Не прочитав толком предварительного следствия и не выработав плана защиты совместно с обвиняемыми, я только силился доказать, что содержание статей «Донского вестника» не представляет из себя чего-либо нового, а есть обычная пикировка между Добровольческой армией и казачеством, мировоззрения которых не сходятся, что евпаторийская история с этой газетой есть один из этапов постоянной борьбы между двумя политическими течениями, подогретой новороссийской катастрофой.

— Скажите, — спросил я на суде Ратимова, — теперь в Евпатории выходит казачья газета?

— Выходит «Вольный Дон», — с грустью ответил осважник.

— Кто редактирует?

— Член донского круга полк. Гнилорыбов.

— Каково же ее направление, сильно разнится от направления «Донского вестника»?

— Нет, не особенно. Только тон статей более сдержанный.

Действительно, новая казачья газета «Вольный Дон» опять тянула старую песню о демократическом Доне, об особенностях казачьего бытового уклада, указывала на ошибки Деникина и т. д. Врангелю надо было затевать новый процесс. Дело ликвидировалитише и проще. Гнилорыбовскую газету придушили тем, что Осваг распорядился не давать редактору бумаги, которая в Крыму была взята на учет.

Но как ни скромна была моя роль в процессе, Селецкий больше всего изливал свою ненависть к Дону на мне, хотя я не принадлежал к казачьему сословию и оказался в Донской области совершенно случайно. Затыкать рот подсудимым на гласном суде было неудобно. Зато защитника он осаживал на каждом шагу, притом в невозможногрубой форме, так что я серьезно подумывал уйти из суда. Прокурору разрешалось задавать свидетелям какие угодно вопросы, мои же то и дело признавались не относящимися к делу. Я попробовал было занести в протокол показания начальников донских дивизий — ген. Гусельцикова, Сутулова и Долгопятова, которые удостоверили, что в результате чтения казаками «Донского вестника» никаких беспорядков в частях не произошло. Эти свидетели на следствии не допрашивались, между тем их показания совершенно опровергали формулировку обвинения по той части 145 ст., которая влекла смертную казнь.

— Потом! Потом! — замахал руками Селецкий, — садитесь.

Я пожал плечами. Мое законное требование так и осталось без исполнения.

Ген. Ронжин весь процесс просидел в курульном кресле, сзади военного прокурора ген. Дамаскина, любуясь своим детищем —

процессом. Он только улыбался, когда его друг и приятель Селецкий выкидывал какой-нибудь боевой номер.

— Что это он так на вас набрасывается? — недоумевали мои многочисленные коллеги, подчиненные ген. Ронжина. — Будь вы платный адвокат, который не прочь побудировать на политическом процессе, — тогда другое дело. Вы же сами военно-судебный деятель, профессионал, военный юрист, который изуважения к своему ведомству не допустит ничего бес tactного или вызывающего.

— В прежнее время, — говорил генерал Г-в, — в нашем суде председательствующие усугубляли свое внимание к защите в тех случаях, когда заранее решались кого-либо закатить, удовлетворяли решительно все ее требования, даже незаконные: все равно ведь прокурор, довольный приговором, не подаст протеста. А тут и о законных заикнуться не дают. Соблюдали бы хоть *decorum* правосудия.

Начались прения сторон.

Прокурор военно-морского суда ген. И. С. Дамаскин, мой близкий товарищ, доказывал, на основании показаний «честного русского журналиста», состав преступления и, возмущаясь домогательствами «похабного мира» донским офицерством, требовал назначить подсудимым одно из наказаний, указанных в последней части 145 ст. воинск. уст. о наказ.

— В числе этих наказаний значится и смертная казнь! — закончил обвинитель свою сухую, крайне слабую речь.

— Короче и ближе к делу! — осадил меня Селецкий, едва я успел раскрыть рот.

Вперив в меня свои мутные, подслеповатые глаза, он насторожился, готовый в каждую минуту оборвать защитника. Как только я чувствовал, что с его губ готово сорваться оскорбительное замечание, старался сейчас же перевести речь на другой предмет.

— Мне бы хотелось одного, — закончил я свою часовую речь, — а именно: да совершиется правосудие. Страшное время переживаем мы — время беззаконий и произвола.

Только еще в судах блестает маяк правды и законности. Пусть же будущий историк казачества, когда станет изучать этот бесспорно исторический процесс, скажет, что при постановке приговора по делу донских вождей зерцало правосудия сияло перед судьями своим лучезарным светом.

Ген. Сидорин в последнем слове живо, не без подъема, очертил все свои, действительно, немаловажные заслуги перед белым станом; заявил, что и после процесса будет работать на благо казачества, только в иной форме, а не в той, как до сих пор, и возмущенно опровергал мнение прокурора о том, что донское офицерство добивалось «похабного мира» с большевиками.

— Правильно! — закричали сторонники Сидорина, возмущаясь вместе с ним этим местом прокурорской речи.

— Прошу не шуметь! — закипятился Селецкий.

— Правильно! Нельзя так оскорблять донцов! — раздавалось в зале.

— Я прикажу удалить всю публику из залы! — погрозил наконец Селецкий, перепуганный скандалом.

Только после этой угрозы смолкли крики.

Ген. Кельчевский, который все время безмолвствовал и о котором никто ничего не говорил, так что посторонней публике казалось не-понятным, почему он-то сидит на скамье подсудимых, сказал всего несколько слов со своим обычным юмором:

— Я прошел в жизни все стажи, от артиллерийского подпоручика до профессора академии Генерального штаба, командующего армией в мировую войну и военного министра южнорусского правительства. Теперь, по милости «честного русского журналиста», мне предстоит пройти еще и тюремный стаж. Но я уверен, что вы, господа члены особого присутствия, признаете меня не подходящим для этого стажа.

VIII Приговор

Суд удалился в совещательную комнату в 8 часов вечера, а приговор был вынесен около полуночи.

За эти четыре часа из дворца главнокомандующего несколько раз спрашивались по телефону, кончилось ли дело. Врангель крайне интересовался ходом процесса. Он установил самую строгую цензуру статей, касающихся этого дела. Пропускались только самые сухие отчеты. Один перепуганный репортер уже после процесса жаловался мне, что его и редактора обслуживаемой им газеты хотят предать военно-полевому суду за то, что они без разрешения цензуры изложили сущность сидоринского дела, не скрыв позорной роли Ратимова.

Но, как ни старался Врангель изобразить из себя страшного громовержца, как ни усердствовали Гирчич, Ронжин и Селецкий, все равно никто не верил в то, что донские вожди понесут серьезное наказание.

— Осудят, а потом помилуют! — говорили все, зная порядок, твердо установленный в белом стане в отношении сколько-нибудь ответственных лиц и уходящий корнями в отдаленные царские времена.

В сидоринском процессе эта старая традиция ничуть не нарушилась.

— Ты не бойся, — сказал ген. Богаевский Сидорину перед самым выходом суда. — Каков бы ни был приговор, ты все равно спокойно уедешь за границу.

— Я и так нисколько не боюсь, — сухо ответил Сидорин. Отворилась дверь совещательной комнаты, из которой показался жалкий,

обтрепанный Селецкий, сопровождаемый плотным, гладко выбритым Драгомировым и тощим, с черноморовской бородой, Экком.

— Особое присутствие, — начал неестественным, с выкриками, голосом Селецкий, — признало ген. Сидорина и Кельчевского виновными в бездействии власти, вызвавшем серьезные беспорядки в Донском корпусе, и приговорило каждого из них к исключению из военной службы, к лишению чинов, орденов и воинского звания и всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы сроком на 4 года.

«Правосудие в войсках ген. Врангеля»* совершилось.

— А ведь, право, — заметил один из «каторжников», ген. Кельчевский, когда мы направились ужинать, — я гораздо меньше волновался на этом суде, чем во время защиты своей профессорской диссертации.

И, вспомнив академию, рассказал несколько эпизодов из той эпохи, когда в числе его слушателей состоял и гвардейский поручик барон Врангель.

Шел уже полицейский час, рестораны не имели права торговать. Но даже и в Севастополе, под носом правителя Крыма, за деньги его распоряжения очень легко нарушались. «Каторжники» не скупились. Для нас не только зажгли свет в ресторане, но даже сервировали ужин человек на 20 на открытом воздухе. Я впервые очутился в интимной сидоринской компании, среди его «лавочки» — и был поражен чрезмерным амикошонством. Желторотый Агеев называл на «ты» не только Сидорина, но даже старого профессора Кельчевского.

На следующий день Селецкий объявлял приговор в окончательной форме.

— Вы не беспокойтесь... Главнокомандующий смягчит вам наказание, — затараторил этот жрец Фемиды и на прощание протянул Сидорину через стол руку.

Но протянутая старческая рука так и повисла в воздухе, не принятая «каторжником». Оплевав правосудие, Селецкий сам получил публичную пощечину. Впрочем, такой пустяк его почти не смущал.

Когда я уходил из суда, задержавшись там долее остальных, у подъезда меня окрикнул незнакомый голос:

— Скажите, полковник, процесс ген. Сидорина кончился?

Я оглянулся. Это кричал с фаэтона небольшой, чернявый человечек, голову которого покрывала кубанка.

— Да, уже кончился.

* Так была озаглавлена вышедшая в 1921 г. в г. Константинополе брошюра полк. А. П. (Попова), помощника ген. Ронжина. В ней излагается об устройстве военно-судебной части в эпоху Врангеля и восхваляется собственная деятельность по возвращению правосудия в войсках.

— Ах, как жаль, как жаль, что не удалось попасть. Я так спешил из Феодосии... Даже пренебрег тифом, поехал почти совсем больной... Да вы точно ли знаете, что процесс кончился?

— Как же мне не знать, когда я их защищал на суде.

— Ах, вот как... Очень приятно, очень приятно... Позвольте пожать вашу руку... Вам еще придется видеть Сидорина?

— Да, конечно.

— Так, ради бога, скажите ему, чтобы он скорее спешил в Париж. Там его место... у эсэров. Там ведь сейчас оживляется наша работа, все там.

— Позвольте! Кто же пойдет за эсэрами, в особенности за Керенским, это после того, как они оскандалились в 1917 году? Они проявили полную неспособность держать власть. Военная среда может идти только за людьми дела, а не слова. Сердцу военного человека ближе твердые, энергичные большевики, чем дряблые болтуны эсэры.

— Ах, что вы говорите... Теперь и мы будем решительны, конечно, поумнели. Керенский оскандалился, но мы его все-таки будем держать при себе. Имя! Марка! Но, разумеется, мы не дадим ему никакой активной работы.

— А с кем имею честь разговаривать?

— Матрос Федор Баткин, — не без гордости заявил мне собеседник. — Так, пожалуйста, пусть Сидорин едет в Париж, непременно едет. Он будет очень тепло встречен у эсэров.

С этими словами сирена Керенского укатила от меня.

6 мая осужденные подали кассационную жалобу, указывая в ней на ряд всевозможных правонарушений, превративших процесс в административную расправу.

— Что вы, батенька, с ума сошли, что ли, со своими генералами? — приветствовал меня Селецкий, узнавший о подаче жалобы. — Добиваться отмены приговора! Неужели вы там думаете, что мы еще раз будем собирать такой суд... Ничего из вашей жалобы не выйдет, наперед скажу.

Ген. Ронжин засуетился. Вечером 7 мая он пригласил в свой служебный кабинет членов главного военного и военно-морского суда, высшей кассационной инстанции, на предварительное совещание, т. е. другими словами, чтобы убедить их в необходимости провалить жалобу. Этого было очень не трудно достичь. В этом верховном судилище председательствовал старый сухомлиновский лакей ген. Макаренко, главный военный прокурор царской эпохи. В Февральскую революцию он был арестован вместе с министрами и сошел с политического поприща. В 1918 году он выплыл на Юге России и был одно время деникинским министром юстиции, теперь же в Крыму заменил изгнанного генерала Дорошевского. Второй кассатор был ген.-лейт. Игнатович, в царское время помощник главного военного

прокурора, т. е. ген. Макаренко¹². Оба они привыкли поступать так, как хотелось высшей власти. Третьего кассатора, члена от флота, адмирала Лазарева даже не пригласили на заседание; голос его все равно не имел значения.

Между тем, пока шло совещание высших блюстителей врангельского правосудия, «каторжники» составили заявление о том, что просят оставить их жалобу без последствий.

«Хотя мы убеждены, — писали они, — что приговор по нашему делу будет отменен главным военным судом; но, так как пересмотр дела снова привлечет внимание казачьих масс к процессу и вызовет среди них такое настроение, которое совершенно нежелательно, ввиду предстоящего наступления Крымской армии, мы просим нашу жалобу не рассматривать».

— К чему же тогда было огород городить? — спросил я присяжного поверенного Сергея Ивановича Варшавского, одного из акционеров и сотрудников газеты «Русское слово», а теперь редактировавшего газету «Юг России». Во время процесса он являлся негласным советником подсудимых. Ему принадлежала инициатива подачи жалобы, он же проделал с ней и этот фокус.

— Это нужно для истории! — услышал я в ответ.

История должна была увенчать лаврами Сидорина за то, что он, не в пример Врангелю и Богаевскому, заботился о спокойствии казачьих масс перед новым наступлением и даже пожертвовал собственным благополучием ради блага казачества. Так следовало понимать это адвокатское блудодеяние.

Захватив генеральское заявление, я отправился к ген. Ронжину. Там, пока Варшавский работал для русской истории, шли горячие дебаты о тех основаниях, по которым следует поставить крест на всей сидоринской истории. Блюстители правосудия бог знает сколько времени спорили бы, если бы я не переслал к ним в кабинет заявление генералов об отказе от жалобы.

Дебаты сразу стихли. Спорить стало не о чем.

9 мая Врангель утвердил приговор, предварительно побывав в Евпатории, чтобы узнать настроение казаков. Он не нашел никакого волнения в их среде в связи с процессом вождей.

— Принимая во внимание заслуги донского казачества в борьбе с большевиками и по ходатайству донского атамана, — гласила заключительная часть конфирмации, — заменяю определенное судом ген. Сидорину и Кельчевскому наказание — отставлением от службы, без права ношения военного мундира.

Селецкий еще дня за два разболтал мне, что таков будет результат этого дела.

Так кончился этот бутафорский суд, бессмысленный и ненужный. Врангель доставил себе удовольствие, продержав двое суток на скамье подсудимых неприятных ему людей и затем с миром отпустив

их. Обратив суд в водевиль, он только вволю посмеялся, позабыв при этом, что если от великого до смешного один шаг, то от смешного до великого дорога дальняя.

И тем не менее этот процесс, по справедливости, может быть назван историческим.

Казачество, начиная с Февральской революции, возомнило себя особью русского племени, претендовавшей на автономию тех областей, где она сосредоточивалась. Однако идеологи казачества так и не могли выработать определенной казачьей социально-политической программы. Оттого казачество все время лавировало между двумя стульями, реакцией и революцией.

Программу ему заменяла романтика. Жизнь по прадедовской старине, в степных привольях, с вольным кругом и радой, оказалась в наше время не более как красивой мечтой, навеянной казачьими поэтами вроде «донаского баяна», сподвижника Каледина, Митрофана Богаевского*.

Казачьи массы совершенно не понимали своих идеологов и их программы. Будучи земледельцами, казаки были в то же время и воинами, воспитанными в казарменной дисциплине царских времен. Привычка к рабскому повиновению сделала их игрушками в руках реакционных генералов, голос же земли звал их к рабоче-крестьянской власти. Потому-то казачество столько раз признавало советскую власть, потом восставало, снова мирилось и т. д. Равным образом не ладило оно и с лагерем реакционеров, с Добровольческой армией, благодаря своим политическим деятелям, казакоманам. Добровольческая армия, наследие старого режима, нуждалась в казаках, как в пушечном мясе, но считала абсурдом какое бы то ни было обоснение их от той России, которую она представляла, и от той политической программы, которую она проводила в жизнь. Летом 1919 года в г. Ростове пал от руки убийцы, направленного близкими к Доброволии кругами, председатель кубанской рады Н. С. Рябовол¹³. Это было первое предостережение казакам. В ноябре того же года Деникин учинил суровую расправу с членом рады Калабуховым. Теперь наконец старая царская Россия в лице Врангеля и его суда юридическим актом зафиксировала ненужность и вредоносность обоснения казачества, которое она признавала только привилегированным военно-земледельческим классом.

Возражения на этот приговор не последовало. Казаки были равнодушны к осуждению той идеологии, которой они не понимали.

* Родной брат ген. А. П. Богаевского, избранного в 1919 г. в атаманы; отличался редким ораторским талантом; разрабатывал донскую историю; после падения Каледина был взят в плен донским партизаном войск старш. Голубовым, принявшим сторону большевиков, и в феврале 1918 г. расстрелян в г. Новочеркасске.

Казачьи политические деятели робко спрятались в кусты. В Ронсевальской долине не прозвучало даже Роландова рога, потому что казачество имело певцов и имело воинов, но не имело проникнутых казачьей идеологией и в то же время сильных духом вождей. Хрупкое создание поэтической фантазии, Тихий Дон, Вольная Кубань, Шумный Терек, быстро рассыпались в пыль в соприкосновении с прозою реальной жизни, и даже некому было оплакать смерть красивой казачьей мечты.

За границей, пройдя крестный путь трудовой жизни, казачество опять воскресло, но осознав себя не как этническую особь или как особый класс, а лишь частью великого трудового класса русского крестьянства. Такую современную роль выковали для казачества не большевики, а весь ход русской истории. Большевики только подвели итоги. Не признавая романтики и сокрушая классовые привилегии, эти величайшие практики не более как завершили длительный исторический процесс претворения казачества в простое крестьянство.

Долго еще блуждали по Крыму, а по загранице еще и по сейчас блуждают, как метеоры в безвоздушном пространстве, разные казачьи атаманы и политические деятели. Но это тени мертвеца. Атаманы давно стали адъютантами Врангеля, политические деятели — нахлебниками эсэров, как пражские «возрожденцы», или Милнжога, как председатель донского войскового круга В. А. Харламов*. Эсэры всегда усердно зазывали казаков под свою фирму. В конце концов группа безработных деятелей «союза возрождения казачества», во главе с председателем Терского войскового круга Г. Ф. Фальчиковым, соединила с ними свою судьбу.

Остается сказать несколько слов о героях процесса.

Генералы Сидорин и Кельчевский вскоре после конфирмации приговора уехали за границу, где они долгое время служили мишенью для выпадов черносотенцев, которые так и титуловали их «каторжниками». Хотя в 1921 году эсэры вызывали ген. Сидорина в Париж на свое совещание, в качестве эксперта по казачьим делам, но на эмигрантском горизонте звезда бывшего донского командарма никогда не восходила высоко. Кельчевский занялся своей любимой научной работой, написал несколько брошюр по военным вопросам и умер в 1923 году, в г. Берлине, редактируя военный журнал «Война и мир».

Главный виновник сидоринского процесса, граф Дю-Шайла, долго еще томился в заключении. Осеню, когда он выздоровел, его дело уже потеряло свою остроту. Его предали севастопольскому военно-морскому суду по обвинению в разлагающей войска пропаганде

* Член Государственной думы всех 4 созывов. В эпоху Керенского состоял председателем Особого закавказского комитета.

(129 ст. Угол. улож.), а не в государственной измене. Саморанение спасло его от предания военно-полевому суду и неминуемого расстрела, время — от обвинения, влекущего расстрел, а военно-морской суд, под председательством молодого судьи, честного полк. В. В. Городыского, его и вовсе оправдал. Ген. Селецкий в это время отсутствовал, и Ронжин не мог выпустить его на этот процесс. В «нормальном» же военном суде не все юристы походили на Селецкого.

Получился неслыханный скандал для «правосудия в войсках ген. Врангеля». Донских вождей присудили к каторжным работам за то, что они допустили преступную агитацию газеты «Донской вестник», а теперь оказалось, что тот же военно-морской суд, но в другом составе признал эту агитацию не преступной.

Ген. Ронжин рвал и метал. Полк. Городыскому он перестал подавать руку. Прокурору военно-морского суда было предписано подать кассационный протест. Но в дело французского графа Дю-Шайла вмешался резидент Франции при Врангеле, другой французский граф де-Мартейль, и прокурорский протест, как некогда кассационная жалоба Сидорина и Кельчевского, был взят обратно из главного воен. и воен.-морского суда.

Доносчик Ратимов получил от Врангеля свои 30 сребреников, составлявшие в крымской валюте того времени 5 000 000 рублей. Эти деньги были выданы ему на ведение при «Евпаторийском курьере» казачьей страницы. Обласканный верхами, он, по возвращении в Евпаторию, поспешил облечься в чиновничий мундир с какими-то фантастическими погонами и стал корчиться из себя видную фигуру.

И пожинал наш Боря лавры,
В своем «Курьере» бил в литавры, —

гласила злобная сатира в измайловском «Царь-колоколе».

Впрочем, в конце владычества белых в Крыму, когда Врангель не уважил его просьбы о выдаче новой субсидии, этот Шервуд-Верный начал сам крамольничать, допуская в своей газете демагогические выпады против офицерства. Он не успел испытать на себе гнева Врангеля. Перекоп пал, и Ратимов очутился там же, где находились обвиненные им в измене «русскому нациальному делу» донские генералы и граф Дю-Шайла, вместе со своими судьями.

Судьба всех их свалила в одну эмигрантскую кучу.

<...>

Еще в апреле Врангель отправил небольшой десантный отряд в Хорлы (близ устья Днепра), но красные своевременно обнаружили высадку и так нажали, что только половина отряда благополучно вернулась на суда, прочие же погибли. Эту неудачу скрыли от войск, чтобы не наводить паники. Скорейшее наступление вызывалось необходимостью. Крошечный полуостров быстро истощался войсками, которые, как саранча, стремительно поедали все, что годилось

для желудка. Цены росли неимоверно. В день нашего прибытия в Евпаторию, 17 марта, обед стоил в столовой 35–50 руб. Теперь, через два месяца, сколько-нибудь сносно пообедать не удавалось и за тысячу. Об ужине не приходилось думать, так как жалованья едва хватало на обед.

Казаки рвались из Евпатории, наскучив сидеть у чуждой им стихии — моря. Особенно мучились калмыки.

— Фу, матер-чёрт, — роптали они, — была земля, теперь осталась одна вода, и ту пить нельзя — соленая.

— А воевать пойдете?

— Воевать? Мой будет воевать... Большак украл мой бог, бакша* сказывал. Воевать надо. Большак нас не любит.

— Что же вы сделали худого большакам?

— Наш здорово большака бил. Поймаем, — а матер-чёрт, ты земли хотел, на тебе землю... Земли в рот набивали... большак задыхался.

Эти покорно шли, куда указывало начальство. Миролюбивый, но темный калмыцкий народ, привыкший жить по старине и слушаться своих старейшин, увлекли в кровавую авантюру дешевые демократы вроде Бадьмы Уланова, члена Донского войскового круга, или князя Тундутова, калмыцкого аристократа, выросшего при царском дворе. Одно время в 1918 году Тундутов сформировал даже «Астраханскую армию» на немецкие деньги и поднял калмыков на священную войну с большевиками. В результате княжеской авантюры — великое переселение на Кубань и гибель множества этих полукочевников на Черноморском побережье.

— Тундут твою мать! — часто срывалось у калмыков под горячую руку.

Уцелевшие от разгрома калмыки не видели другого исхода, как война. Мириться не позволял Врангель.

Казаки, обогреввшись весною, тоже жаждали бранной потехи.

— Чего тут у моря париться... Уж если не замирились, так в поход... Будь что будет.

— Но ведь в нашем корпусе нет ни лошадей, ни пушек, ни оружия!

— Выvezet kriava, u nepriyatelya razzhivemся. Нет — так сложим кости. Делать нечего.

Это «нечего делать» определяло тогдашнее направление казацкой воли.

В Севастополе донцам не доверяли, переоценивая значение сидоринской истории. При выработке наступательного плана им опасались дать сразу же боевую задачу. Донской корпус решили сначала держать в резерве, на испытании.

— Мы боялись назначить вам участок при выходе из-за Сивашей, — слышал я впоследствии от чинов врангелевского штаба. —

* Калмыцкий архиерей.

Думали, что, как соприкоснетесь вы с красными, — поминай как звали, обнажите фронт. Не верили в стойкость донцов.

Таким образом, покинув после Троицы Евпаторийский уезд, мы заняли срединное положение между двумя выходами из Крыма, Перекопским перешейком на западе и вдающимся в Сиваш Чонгарским полуостровом на востоке. По этому полуострову проходит железная дорога.

На Перекопе прорыв возлагался на «цветные войска» Кутепова; со стороны Чонгарского полуострова, вдоль железнодорожного полотна, должен был наступать ген. Писарев с остатками шкуринцев. В случае удачи слащевского десанта здесь не ожидалось серьезного сопротивления: неприятель, обойденный Слащёвым, все равно вынуждался к спешному отступлению с этого участка. Лишенные активной роли, донцы были поставлены в таком месте, чтобы в случае нужды могли легко двинуться на помощь Кутепову, и Писареву.

Вырвавшись из объединенного Евпаторийского уезда, казаки ожили, опять очутившись на подножном корму среди зеленеющих полей, столь приятных их сердцу. Калмыки, служившие в конвое Абрамова, на цепкие дни забирались в волнистую мураву и, усевшись по-восточному, мурлыкали свои меланхолические песенки. Штаб расположился в небольшой деревне Богемке, населенной чехами-колонистами. Здешний район пока еще изобиловал всякими снедями, и мы, изголодавшись у моря, яростно набросились на молоко, масло, творог и яйца.

Странное у нас царило настроение. О политике почти не говорили. Будущее просто замалчивали. «На уру идем, но другого исхода нет: попали в тупик», — было на уме у каждого про настояще. В конечную, будущую победу, разумеется, не верили. Но о том, что теперь уже не прежняя, настоящая война с большевиками, а безнадежная авантюра, — вслух не решались говорить. Не потому, что боялись кары, — на этот счет опасаться не приходилось, так как в казачьем корпусе господствовала свобода болтовни, а просто из самолюбия, чтобы не показаться пессимистом и не прослыть трусом. В интимных же беседах, конечно, менее стеснялись.

Глава административной части штаба нашего корпуса, так называемого дежурства, ген.-майор Н. И. Таарин, с которым мне часто приходилось вместе ездить на доклады к Абрамову, не верил в успех врангелевского дела, как в самом начале, так и в период наибольших успехов Крымской армии, и не скрывал этого своего убеждения от меня. Я соглашался с ним уже по одному тому, что видел невозможность какой-нибудь творческой работы в белом стане, где даже такие, как Таарин, занимали высшие места. Безвольный, робкий, чуждый всякой инициативы, то, что называется «шляпа». Просто не верилось, что этот человек три месяца тому назад командовал дивизией. Бездна суety и никакой распорядительности; безукоризненная честность и ни на грош здравого смысла. Во врангелевский

период существовала тенденция изгонять из армии людей порочных. Но они уносили вместе с пороками и смелость, энергию, самодеятельность. На смену им приходили трусы, чинуши, фельдфебеля.

Впоследствии, в эмиграции, ген. Таарин оказался недурным столяром и зарабатывал себе этим ремеслом пропитание. В Крыму же никто не догадывался об этом генеральском таланте, так как он в течение всего похода если не подписывал бумаги, то запоем дулся в винт и преферанс. Благодаря его беспечности весь штаб чуть не погиб несколько раз.

Едва только Донской корпус скривился с места, как посыпалось множество жалоб на самовольные реквизиции и бесчинства. Уходя со своих квартир в Евпаторийском уезде, казачьи части чисто грабительским путем приобрели себе кой-какой обоз, без которого, впрочем, все равно были немыслимы операции. Кроме этого, они позабирали много домашней утвари — котлов, чашек, топоров и т. д. Отчасти к этому вынуждала необходимость. Разбираясь в куче этих жалоб, я с грустью думал, что и здесь, где чехи так радушно принимали нас, повторится то же самое, что вдогонку нам понесутся проклятия обранного населения.

В Богемке реформированная Врангелем контрразведка приступила к работе. Но ее первые дебюты были неудачны. Так, она установила, что в районе Донского корпуса появился большевистский агитатор, который ездит в черной карете и разбрасывает прокламации. Наконец, штаб получил известие, что черная карета задержана, агитатор пойман. Так как я, по старой памяти, мало доверял этому органу политического розыска, да и ген. Абрамов предпочитал контрразведчикам юристов, то для допроса задержанного был командирован мой офицер для поручений поручик Брусенцев.

— Произвел! — доложил он мне через полчаса.

— Что так скоро? Что выяснилось?

— Выяснилось, что наши контрразведчики — дураки. Агитатор, может быть, и разъезжал, да не тот, кого они задержали. В карете оказался старший врач одного из полков. Предъявил все документы. Помилуйте, говорит, какие у меня прокламации? Я ездил в Симферополь за медикаментами. Кастрорки у меня, пилюль всяких, — сколько угодно, а насчет прокламаций увольте.

Другой раз в одном из селений на берегу Сиваша арестовали приходского священника. Батя довольно шумно справлял свои именины. В заключение пирующие пустили несколько ракет.

— Сигнализация неприятелю беспременно... Большевистский шпион в рясе...

При обыске нашли две ручные бомбы.

Насилу попик выкрутился. Бомбы и другие военные припасы оказались чуть не в каждом доме на берегах Сиваша. И белые и красные, отступая, бросали их где попало.

О готовящемся наступлении, конечно, военные догадывались, но никто не знал, когда оно начнется.

25 мая со стороны Перекопа доносилась усиленная артиллерийская стрельба. Штабная братия вопросительно поглядывала друг на друга.

— Что это, наши напирают или нас жмут?

На следующий день было приказано грузиться на поезд. Через Богемку проходила железная дорога от Джанкоя в сторону Перекопа.

— Не знаете? — сообщил мне комендантский адъютант, принесший распоряжение о погрузке. — Красные разбиты под Перекопом. Наши прорвали их фронт. Выход из бутылки, кажется, обеспечен.

— Ну а обратный вход в бутылку?

— Пока что будем жить этим.

Никто в штабе не ликовал. Царило опасение, как бы наш минутный успех не кончился немедленным окружением и разгромом нашей крошечной армии на широких полях Северной Таврии.

Но так или иначе, крымский период Гражданской войны начался. Врангель ринулся добывать себе славу, французам — царские долги. Тифозные, вшивые, оборванные солдаты, не зная выхода из тупика, с мужеством отчаяния ударили на врага.

В иностранных газетах с этого дня появилась рубрика, озаглавленная в переводе на русский язык: «Авантура генерала Врангеля».

X

Выход из бутылки

Слабые красные части, сторожившие Крымскую армию у Перекопа, не выдержали натиска «цветных войск» и спешно начали отходить на север. Удаче прорыва содействовали больше всего танки. Под их прикрытием пехота уже смело бросалась в атаку красноармейских окопов.

В то же самое время, как Кутепов имел успех на Перекопском перешейке, ген. Слащёв, высадившись со своим корпусом у дер. Кирилловки, повел наступление на Мелитополь, а ген. Писарев двинулся со шкуринцами через Чонгарский полуостров к узкому выходу из Крыма в восточной части Сиваша. Опасаясь окружения, Красная армия повсеместно отступила.

Наш Донской корпус вышел из бутылки позже других. Опасения штаба главнокомандующего не подтвердились. Казаки, как только почуяли боевой огонь, сейчас же воспрянули духом.

— Станция? Подавай следующую! — орали «Гундоря»* ген. Гусельцикова на ст. Таганаш, перед самым Чонгарским полуостровом.

Это был лихорадочный порыв зверя, которого заключили в клетку.

* Казаки Гундоровского полка, первоначально составленного казаками станицы того же имени. Этот полк наиболее отличился в Гражданскую войну.

Наш поезд медленно продвигался к северу. В штабе не особенно хорошо знали положение на фронте. Хотя по инерции и из любопытства каждому хотелось вперед и вперед, но настроение по-прежнему царило скорее боязливое, нежели воинственное. Все видели, что идем на Советскую Россию ни с чем, с голыми руками, даже без веры в чудо.

Ген. Абрамов не принадлежал к числу начальников, способных ободрить или хоть осчастливить своих подчиненных каким-нибудь собеседованием. Целые дни сидел он в своем отделении (мы ехали в простом вагоне III класса) с начальником штаба и никогда не появлялся из-за дверей даже к нам, высшим должностным лицам.

— Что он у вас за такая бука? — спросил я ген. Тарарина, природного казака и потому хорошо знавшего старое донское офицерство.

— Так уж он воспитан. Вы никогда ничего не слыхали про его отца?

— Не приходилось.

Это была презанимательная личность. Простой, необразованный казак, он ухитрился дослужиться до генеральства. Будучи бригадным командиром, он во время маневров однажды взял в плен самого министра Банновского и заставил у себя обедать. Потом он пошел по администрации, был окружным атаманом Донецкого округа. Тут он хозяйничал, как некогда в своей сотне. Баб, девок, старух — всех считал своими подчиненными. «Ишь ты, окаянная, — кричал он иногда молодой казачке, — как рожу-то свою наштукутирали, а хата небось не выбелена. Вот я тебе покажу. Чтобы, как поеду назад, хата блестела как снег, не то я тебе... видишь?» Тут ногайка взвизгивала в воздухе и хлестко шлепалась о генеральский сапог. Строг был, все перед ним дрожали. Когда его собственные дети приезжали к нему из кадетского корпуса в отпуск, он заставлял их являться к нему с форменным рапортом: «Ваше превосходительство! кадет такой-то в отпуск прибыл». Папаша сурово осматривал сынов, и горе, если находил пуговицы недостаточно на светленными или ремень плохо подтянутым. Сейчас под арест. Где уж тут не сделаться букой, привыкнув и отца родного бояться.

— Да, — продолжал Тарарин после паузы, — это был служака старого закала. Он не особенно ценил образование и считал его гибельным для казака. Однажды он представлялся государю, который поинтересовался, велика ли у него семья и по какой дороге пошли дети. «Один-то вот ничего, — ответил старик, — в строю служит, старший же отбился от рук, погибший человек, изменил казачеству». — «Что же с ним такое?» — «Пошел в Генеральную академию, есть там такая. Для казака она, по моему глупому уму, гибель». Только напрасно старик беспокоился. Яблоко от яблони недалеко упало, хотя и впитало в себя сладкий сок образования.

Наш поезд между тем тащился по безжизненному Чонгарскому полуострову, который врезался в Сиваш и запирал его с востока.

То и дело по сторонам полотна виднелись воронки, зловещие следы недавнего боя. Даже среди мелкого Сиваша, перерезанного насыпями для добывания соли, можно было заметить множество углублений среди илистого дна.

Наконец мы перебрались по Чонгарскому мосту в Северную Таврию и остановились у станции Сальково. В течение зимы здесь был самый боевой участок. Тут и окопы, и ряды проволочных заграждений, защищавших восточное устье Крыма. Здешняя солончаковая почва плохо родила траву, вместо которой поверхность земли покрывал стальной щебень. Тысячи снарядов разорвались на этом участке, но тысячи упали в целом виде и теперь валялись безжизненные, как трупы, но далеко не безопасные. Кое-где у моря торчали жалкие крохи рыбачьих лачуг, разрушенных огненным дождем.

— Вот видишь, — обратился я к своему офицеру Брусенцеву, страшному скептику, — мы уже не в Крыму, а в Северной Таврии.

— Вижу и думаю, будут ли нам готовы пароходы в крымских портах, когда лавиной покатимся назад.

— Однако ведь несомненная победа.

— Да, победа всей нашей армии над большевистским обсервационным корпусом.

28 мая мы прибыли в Ново-Алексеевку.

Эта станция тоже сильно пострадала от бомбардировки, но здесь кругом уже зеленое степное приволье. Вдали чернеют силуэты громадных сел и колосятся нивы.

Возле самой станции находился плодовый питомник таврического земства. Его окружали целые стены сирени и роз. Под кустами блистали осколки снарядов. Мощная южная растительность спешила закрыть их листвой. В одном месте василек вырос в шрапнельном стакане.

Жизнь побеждала смерть.

— Вот вам прообраз нашей борьбы за святое дело, — заметил наш корпусной священник о. Андроник, при виде василька, избравшего своей квартирой такой страшный предмет. — Красные — это олицетворение смерти, мы несем с собой жизнь. Не успели прийти, как все кругом оживает, все ликует, все радуется. Даже сама природа. День-то какой!

Увы! Кругом нас мало кто радовался. О. Андроник или заблуждался, или лицемерил.

«Наше наступление развивается, — припоминаю криклиевые афиши в Джанкое. — Население встречает наши войска со слезами радости, засыпает цветами, выносит хлеб и соль. Все торжествуют избавление от красного гнета и уверяют, что везде к северу уже зарыла почва для всеобщего восстания, которое сейчас же вспыхнет, чуть только приблизится наша армия».

— К вам хохлы, — докладывает комендантский казак.

— Уж не с цветами ли?

— Нет, с жалобами.

Группа серых, невыразительных лиц. В руках не цветы, а клочки исписанной бумаги.

— В чем дело, господа?

Господа мнутся. Их смущают мои красные лампасы.

— Вот этот, к кому вам надо, прокурор, — объясняет казак. Из группы выделяется черная рубаха.

— Время, ваше высокоблагородие, скоро пшеницу косить надо...

— А тут ваши казаки лошадей отняли. У кого одна была, одну взяли, у кого две, обеих увеличили. Ведь этак мы хлеба не соберем, и вам будет голодно. Как воевать станете?

— Из какого села?

— Рождественского.

— Какой полк отбирал лошадей?

— Не знаем... Командир ихний такой молодой и сурьезный... еще без руки будут.

«Гриша Чапчиков, это его работа», — мелькает в голове.

Я только что назначен начальником военно-судебной части Донского корпуса, на правах представителя главного военного прокурора Юга России, и одной из главнейших моих обязанностей является надзор за деятельностью только что учрежденных военно-судебных комиссий.

Отвожу жалобщиков в штабную комиссию, вчера прибывшую из тыла. Она еще не сформировалась. Ненавистному учреждению отвели товарный вагон, который осаждает целая толпа. У всех в руках удостоверения от сельских властей о том, что они отправляются в прифронтовую полосу для розыска своих лошадей, захваченных войсками.

Где цветы, где радость избавления от большевистского гнета, где необычайный энтузиазм сермяжных патриотов?

Старики терпеливо жмутся у заветного вагона, где записывают заявления. Более молодые что-то не весьма дружелюбно поглядывают на нас.

— Отнято столько лошадей, что донцы теперь уже опять конница. За один день укомплектовались конским составом! — замечает секретарь комиссии М. Б. Полонский.

Это оказалось правдой.

— Какие мы пехотинцы? Мы — природные конники, — рассуждали донцы. — Если хотят, чтоб мы воевали, так давай коней.

На глазах неприятеля происходило это изумительное обращение донцов из пехоты в кавалерию. Особенно азартничали бывшие мамонтовцы. Силой отворялись сараи, силой выпрягались лошади у пахаря в поле. Крестьяне не знали, что делать, терпеть обиду или ударить в набат и броситься с голыми руками на защиту своей «худобы».

— Последнюю лошадь, и ту берете! — кричит, сверкая глазами, староста безрукому Чапчикову.

— А я вот последнюю руку отдаю родине, — отвечает вояка. У крестьян нет седел.

— Тащи, братва, подушки. У нас все пойдет.

Устраиваются своеобразные пуховые седла.

— Шашки можно отнять у неприятеля, но пока нет шашек.

— Режь, войско, жгуты... вон веревка.

— Может соответствовать.

— Когда неприятель бежит, его можно гнать и с обрывком веревки.

Так вооружался и снаряжался Донской корпус.

Усевшись на коней и почувствовав себя в родной стихии, донцы ринулись в бой, оглашая степь боевым призывом.

А в деревнях раздавался плач и неслись проклятья вдогонку не прошенным освободителям.

Не прошло и недели с начала наступления, как ходоки из деревень «завоеванной» Северной Таврии запрудили все учреждения Крыма с жалобами на самочинные реквизиции лошадей, упряжи и «тачанок» (телег), а иногда и на грабежи. Порочные элементы под шумок не брезгали и реквизицией ценностей.

Из нашего поезда тоже началось паломничество в ближайшие деревни. Кто из офицеров шел сам, кто посыпал вестовых за покупкой продуктов.

— Ой, боюсь я такой дешевой покупки, как бы не попасть к вам в комиссию, — сказал мне однажды брат командира корпуса, полк. П. Ф. Абрамов, старший адъютант по хозяйственной части.

— А что?

— Мой Хорошилов опять принес без денег яиц и масла. Говорит: подарили. Брешет подлец; наверно, «благодарность от мирного населения».

Производим тут же дознание. Вихрастый парень, со вздутой щекой, клянется и божится, что сами крестьяне дали. Пришлось поверить, предположив, что перепуганный народ хотел задобрить завоевателей.

30 мая мы едва не попали в плен к красным.

К этому времени Слащёв уже занял Мелитополь и шел по направлению к днепровским плавням, куда двигался и корпус Кутепова. А в тылу у них преспокойно блуждала красная дивизия Блинова. В ночь на 30-е она напала и порубила артиллерию и некоторые тыловые части корпуса Писарева, а днем направилась на Ново-Алексеевку, где ее менее всего ждали.

В этот день, около полудня, я блуждал по разбитой снарядами станции в поисках съестного. При сидении в вагонах этот вопрос имел большое значение. Наконец жена одного железнодорожника вынес-

ла мне тарелку куриного супу. Я с жадностью начал приканчивать его, усевшись на скамейку. Женщина услаждала меня разговором.

— Господи боже... За эти пять дней мы ожили, перевели дух, не слышим этого окаянного пушечного гула. Всю зиму и весну под страхом жили. Смотрите, все у нас разнесено снарядами, нет ни одной целой хаты. Все больше по подвалам сидели вместе со свиньями.

— Как начнут ваши посыпать нам шестидюймовые гостинцы, так и бежишь в подвал что есть силы. Теперь отошли.... Ай, что же это такое?

Ряд гулких орудийных выстрелов прервал поток бабьего красноречия. Безмолвная степь застонала.

— Что тут опять деется? Никак тут опять бой будет? — заголосила баба. — Дашка, загоняй петухов, разбегутся.

В хатах послышался рев. На станции засуетились. Облака пыли задымились вдали, к северу от Ново-Алексеевки. Как бешеные, летели оттуда обозы.

— Что, в чем дело? — обратился я, прикончив и суп и курчонка, к краснощекому поручику, который лежал в проезжавшей мимо меня телеге.

— Драпаем... Наступает красная конница... Она уже несколько дней блуждает в тылу нашей армии... Ой, много порубила народу, — отвечал мне поручик женским голосом, засовывая пряди курчавых волос под фуражку.

Присмотревшись поближе, я заметил из-под накинутой на плечи офицерской шинели ситцевую кофточку.

Тут мне вспомнился строжайший приказ Врангеля не брать с собою в поход жен, ни настоящих, ни «походных», и сразу стала ясна цель этого маскарада.

Нападение красных отбили донцы и кубанцы. Конница Блинова скрылась неизвестно куда.

На следующее утро меня растолкал поручик Брусенцев:

— Вставай... надо драпать.

— Что опять такое?

— То же, что вчера и что будет до тех пор, пока нас совсем не уничтожат. Одевайся... А впрочем, так, пожалуй, лучше: легче будет улепетывать.

В вагоне тишина, хотя все уже одеты и с напряженным вниманием смотрят в окна, обращенные на запад. Издали доносится неясный гул. Это разговаривают орудия блинновской конницы, обстреливая нашу станцию.

Поезд медленно потянулся на юг. От движения распахнулась дверь в отделение комкора. Ген. Абрамов, в высоких сапогах, во френче, перетянутом ремнем, наблюдал в бинокль за движением неприятеля.

— Пли! — скомандовал он, когда мы проезжали мимо бронепоезда, кажется, по имени «Волк».

Орудие Канэ ответило на эту команду таким треском, что у нас в вагоне не осталось ни одного целого стекла. Мы отступали обратно к Салькову.

«Неужели уже крах?» — мелькало у некоторых в голове.

На первых порах никто не знал, что это за новое нападение и какова обстановка на фронте.

— Пошли завоевывать Россию, — иронизировал мой безнадежный пессимист Брусенцев, — а сами только отошли 4 версты от Крыма, как едва не попали в плен. Можно ли, — обратился он к о. Андронику, — завоевать при таких условиях всю Россию?

— Невозможно у человека, возможно у Бога, — не без лукавства ответил батюшка, который за несколько часов нашей стоянки в Сальково уже не одному штабному офицеру высказывал, что в Евпатории он не успел обревизовать все госпитальные церкви и настоятельно надо бы съездить туда.

Однако после обеда наш поезд вернулся в Ново-Алексеевку.

Красная конница не дошла до станции и повернула к северу. Ее преследовали казаки.

Под вечер привезли раненых. Вокзал обратили в перевязочный пункт. Затем появились возы с убитыми, которые лежали, как дрова, на телегах. Ужасные сабельные раны обезображивали почерневшие лица.

— Ай, ай, смотрите, какие ранения, непременно перед смертью мучили, — воскликнула штабная сестра милосердия Лидия Тетервятникова.

Не требовалось быть даже простым санитаром, чтобы признать обычновенными сабельными ударами те зияющие раны, в которых женская фантазия видит результаты пыток. Однако на войне такие восклицания порождают слух, который досужие люди обращают в факт. Творится легенда о зверствах противника.

Убитых сложили на землю возле питомника. О. Андроник обласчился в ризу и начал панихиду. Но едва он и его дьячки затянули жалобные стихиры, как веселый марш огласил и станцию, и весь затихший поселок при ней. В поезде ген. Бабиева, вождя шкуринцев, шла веселая пирушка, как раз в то время, как о. Андроник начал отпевать его убитых подчиненных.

— На-а-дгро-обное рыда-ание творяще песнь... — выводило духовенство.

А у нас есть бани,
Бани Орбельяни, —

заливались пьяные голоса, хлопая в ладоши, в такт оркестру, который вдруг, после марша, грянул разухабистую апханаурскую лезгинку. Его превосходительство был большой весельчак и сам мастерски танцевал этот кавказский танец.

О религиозной церемонии, которой почтил о. Андроник его сраженных воинов, ему не пришло и в голову.

— Мы боремся за оскорбленные большевиками святыни, — невольно припомнились мне слова врангелевской декларации.

Этого Бабиева я знал понапраснью еще в мировую войну. Он служил, как и я, на кавказском фронте и отличался беззаботной удалью, порою вредной для дела.

— Добропроклятый Бабий, — отзывались о нем кубанские казаки, ценя в нем личную отвагу и возмущаясь его безрассудством, с которым этот горячий осетин бросался в конную атаку горных позиций и губил без надобности народ.

Теперь он командовал наследием Андрея Шкуро, которого еще никак не могли забыть его партизаны.

— А где ваш вождь? — спросил я одного кубанца, глазея в сумерки вместе с толпой казаков на спуск «колбасы», которая проществовала с нами в Сальково, а теперь ночью была не нужна.

— Андрей Григорьевич скоро сюда прибудет... Вот, вот на днях его ожидаем.

— Но ведь главнокомандующий уволил его в отставку.

— Это не верно. Как же можно забраковывать такого полководца! Непременно Андрей Григорьевич вернется.

— Очевидно, это штабной информатор, — заметил мне Брусенцев, кивая головой на моего собеседника. — Помнишь, у Лермонтова в «Измаил-Бее»: «О нем скучают шайки удалые». Как могут шкуринцы забыть своего бога, который посыпал им такой обильный урожай военной добычи! Врангель прогнал Шкуро, но его партизан обманывают, что вот, вот, он явится. Иначе, без надежды на грабеж, у них иссякает любовь к родине.

Возможно, что мой пессимист не ошибался. Врангель на первых порах не мог знать, пойдут ли в бой шкуринцы без Шкуро. Приходилось по необходимости обольщать их надеждами на возвращение их «батьки-командира».

«Колбасу», с которой производили наблюдения днем, на ночь убрали за ненадобностью. Однако опасность еще не совсем миновала. Конница Блинова могла выплыть в любом месте.

Комендантскую сотню штаба на ночь рассыпали в цепь вокруг станции. Выслали вперед дозоры.

— Вы бы, батюшка, ложились, — обратился я уже поздно ночью к о. Андронику, видя, что он ходит по вагону, скрестив руки на груди.

— Что-то не спится... Я ведь никому не мешаю.

За ночь он не сомкнул глаз.

— Я все время молился, — объяснял он утром причину своей бессонницы. — И вот видите, нападения не случилось... Отмолил Господа, и ночь прошла спокойно.

О. Андроник Федоров — фигура, достойная внимания. Ходячая сатира так описывала донского «корпопа», корпусного попа, как его называли за глаза решительно все:

Был он попик самый исты́й,
Обладавший рясой чистой;
Почитатель был постов,
Так что весил шесть пудов.
Крест на ленте кавалерской
Он имел за подвиг дерзкий,
И поэтому любил
На войне стремиться в тыл.

Последний признак — стремление в тыл ввиду опасности, — был самым характерным для «корпопа». О. Андроник, как пароходная крыса, всегда предчувствовал аварию на фронте и заблаговременно уезжал в тыл. На этот счет он, действительно, обладал даром предвидения. Потом у нас составилась даже поговорка:

— Корпоп в Евпатории — быть скверной истории.

В Новой Алексеевке он только поговорил о поездке, но не уехал. Дела, значит, на фронте лучше.

Действительно, вскоре пришло велеречивое известие о том, что наделавшая столько беды блинновская конница уничтожена. Так ли это, или лихим конникам удалось прорваться, — непосвященные в тайны официальных сводок точно не знали. Во всяком случае, этот летучий враг нас больше не беспокоил.

Мы медленно, но верно продолжали двигаться дальше, делая примерно один перегон в сутки. На станциях кое-где еще висели старые воззвания красных властей об очередной измене батьки Махно, который осенью 1919 года раздвоил армию Деникина, чем помог большевикам, а потом стал резать и красных. Где находился фронт этого нынешнего нашего союзника — для всех оставалось загадкой. Осважные газеты заставляли его брать то Полтаву, то Воронеж.

Посещая окрестные поселки, я обратил внимание на то, что стекла в рамках заклеены узенькими бумажками крест-накрест, так что напоминали почтовые конверты.

— Это для чего?

— Приспособились... Сколько времени ведь идет война... Чтобы стекла не лопались от орудийного гула. Когда они заклеены, меньше дрожат.

Меня очень интересовали отзывы населения о красных. На станциях мне приходилось беседовать преимущественно с семьями железнодорожников. Тут я нередко слышал отборную брань.

— Чтоб им сто болячек в спину... Дай им господи весело жить, да скоро зыхать.

Но в громадной деревне Акимовке, в 20 верстах от Мелитополя, я почти целый день толкался среди крестьян, и если кто бранил большевиков, то осторожно и явно стараясь угодить мне.

— Да, конечно... Мы, говорят эти коммунисты, будем писать, а ты сноп вязать. Знамо дело, хозяйничать любят.

— Что ж, они вас обижали?

— Всего бывало. Вот дьякон с одним даже подрался в кооперативе. Тот скажи дьякону: «Мы вас, попов, в мешок да в узелок завяжем». А дьякон за ним, да ну его мотоузить.

— Ну, и как все кончилось?

— Ничего, побил коммуниста.

— Сидел?

— Нет, не сидел. Ведь какая тут политика! Так промеж себя дело вышло.

Желание отвернуться от прямых ответов сквозит всюду.

Порой я замечал и крайне неприязненные взгляды. И уж во всяком случае никто не подносил мне цветов и ничего не предлагал бесплатно.

Вечером 4 июня наш поезд прибыл наконец в Мелитополь, город, известный своими замечательными черешнями. Как раз настал сезон этой ягоды.

Штаб расположился в пригородном селе Кизияре, невдалеке от вокзала. Улицы были изрыты окопами, купол церкви сбит снарядом.

Мне отвели комнату в квартире железнодорожного машиниста. В семье происходила драма. Муж зимой отступил с белыми в Крым, а теперь вернулся домой и узнал от соседей, что жена не только изменяла ему, но даже растранижирила кой-какое имущество со своим другом. Теперь он терзал ее за оскорбление святости семейного очага, а еще более за кожу и мануфактуру. Словесная перепалка длилась у них с утра до вечера.

— Ты большевичка, — исступленно кричал он порою во дворе, под самым моим окном, явно стараясь, чтобы я слышал. — Вон все соседи говорят, что твой зазноба служил комиссарским помощником. В следственную бы комиссию их обоих надо, красную сволочь.

Провокация, к изумлению оскорблённого супруга, не удалась. «Ну и дела! Что это пошли за офицеры! Кричу, кричу, что тут враги отечества, а они и в ус себе не дуют. Видно, выродились белые», — без сомнения думал этот мстительный ревнивец.

XI Чуть не крах

К 5 июня почти вся северная часть Таврической губернии (Северная Таврия) была очищена от частей Красной армии, на которых обрушилось все войско Врангеля.

То, что для последнего составляло крупную победу, головокружительный успех, для Красной армии являлось малозначащим эпи-

зодом, временным отходом назад ввиду напора неприятеля в одном пункте и отсутствия достаточных резервов для противодействия ему.

Занятое пространство увеличивало территорию врангелевского государства вдвое, а для Советской России утрата его ровно ничего не значила. Когда услужливая пресса видела в этом успехе чуть ли не залог освобождения всего государства от большевиков, здравомыслящие люди поглядывали на карту России и, сравнивая едва белевший в Черном море куцый хвостик суши с необозримыми пространствами остальных губерний, уныло опускали головы.

После первой же удачи само главное командование встало в тупик, что же дальше делать? Для ударной задачи в пределах Днепр — Азовское море войска хватило, но как развивать дальнейшее наступление на необъятную Россию с двадцатипятитысячной армией? Приходилось выяснять, пойдет ли за нами крестьянство, а для этого надо было снискать его расположение, показав ему свой товар лицом.

Войскам дали отдых.

Донской корпус занял восточную окраину новоприобретенного пространства, немного западнее железной дороги Бердянск — Черниговка. С севера к донцам примыкала корниловская дивизия.

Наш штаб из Мелитополя перекочевал в дер. Ново-Васильевку, в центр молоканских поселений.

В Мелитополе оставили кой-какую память по себе. Комендантом города на первых порах по изгнании красных был назначен командир пешей комендантской сотни нашего штаба разухабистый войск, старш. Володя Беляев. Чтобы обставить свое управление, он реквизировал мебель у одного врача. Когда же мы покинули Мелитополь, эта мебель тоже поехала с нами, в качестве первой добычи комендантской сотни. Обиженный врач пожаловался, и возникло судебное дело.

Ново-vasильевские сектанты нас приняли очень любезно. Здесь, на плодороднейшем черноземе, действительно, текли молочные реки среди кисельных берегов. Разрушительная стихия Гражданской войны оказалась бессильной истощить этот благодатный край.

Нас тут хозяева закармливали всякими снедями, вовсе не потому, что мы боролись за «оскорбленные святыни» и за «будущего хозяина земли Русской», а из-за обилия плодов земных и в силу своего природного добродушия. То же гостеприимство до нас оказывалось красным.

В этом сектантском царстве, среди благоухающих садов и золотых пажитей, среди елейно-незлобивого населения, становилось не по себе нам, которые принесли в этот мирный, идиллический уголок лязг оружия, пушечный гром, ужасы браны. Где-то, верстах в 50 к северу от нас, две рати русских людей стояли друг против друга. Там тоже зеленели сады и желтели те же нивы. И тот же мирный люд ломал голову и понять не мог, ради чего люди в погонах выползли из-за Сиваша и начали драку. Рассказывали, что в одном прифронтовом

пункте крестьянин пахал длинную полосу, на одном конце которой была позиция белых, на другом красных. Он подъезжал со своим плугом то к одним, то к другим, и мирно беседовал попеременно с обоими врагами.

Гражданская война становилась полной нелепостью.

Крестьянство, на которое Врангель делал ставку, не хотело воевать, не понимало целей войны и своим безмолвием бросало нам упрек за то, что мы снова вносили в Россию пламя междоусобной распри. Если в глубоком тылу, где-нибудь в Севастополе, еще могли обольщать себя надеждами на крестьянское движение, то мы-то, которые жили в новозавоеванных деревнях по мужицким хатам, отлично понимали народное желание.

В Севастополе тыловые герои, рясофорные вояки, армия спекулянтов и туча безработных политических деятелей правого толка в это время, действительно, жили в эмпиреях, опьяненные успехом врангелевского оружия. От безделья они строили воздушные замки, мечтали о поголовном присоединении крестьянства к крымской армии и о грядущем обращении Советской России с помощью «нашего доброго русского мужичка» вновь в арену для своей деятельности.

Вдруг, среди упоения победой, отовсюду из деревень начал доноситься душу раздирающий вопль тех, кого хотели облагодетельствовать, чтобы потом облагодетельствовать на их счет. На полуострове и в Северной Таврии, в главной базе и в завоеванных местностях, в тылу и на фронте, зычным голосом орали:

— Караул! Грабят!

Посадка на коней донцов вызвала немедленное подражание со стороны других войсковых частей, забиравших у населения лошадей и тачанки, на которых возили пулеметы и передвигались на походе.

На первых порах все отнесли на счет донского казачества.

Действия конницы Блинова, так смело бродившей у нас в тылу и едва не перерезавшей единственной железной дороги из Крыма, привели Врангеля к мысли о немедленном создании конных частей. Это дело он поручил ген. Юзефовичу. Когда последний приступил к реквизиции лошадей в Северной Таврии, он узнал от населения, что оно и так уже обобрано донцами. Юзефовича это страшно вззволновало, впрочем не столько самый факт захвата крестьянских лошадей, сколько инициатива донцов, из-за которой на его долю остались только рожки да ножки.

Так как Донской корпус после сидоринской истории находился у Врангеля в опале, то Юзефович не гнался особенно за правдой и изобразил в своем рапорте поступки Чапчикова, Рубашкина и др. не как превышение власти, вызванное военной необходимостью, а как простой грабительский акт.

Лавры Ратимова не давали спать и генералам. Еще в первые дни наступления ген. Писарев, проморгавший налет Блинова, обвинял

перед Врангелем в этом скандале донское командование, но был посрамлен.

В один из вечеров, несколько дней спустя после нашего прибытия в Ново-Васильевку, меня спешно вызвали к командиру корпуса. Там, к великому удивлению, я встретил того, кого менее всего ожидал, свое прямое и непосредственное начальство — генерала Ронжина. Напуганный доносом Юзефовича и боясь, что «грабители-казаки» испортят ему репутацию среди крестьянства, Врангель срочно командировал на фронт, для расследования этого страшного события, своего главного военного прокурора в компании с главой «Всевеликого войска Донского». Вслед за прибытием Ронжина пронесся слух, что в Мелитополь приехали из Севастополя пять генералов, членов сорганизованного военно-полевого суда, которому Врангель решил предать весь старший комсостав Донского корпуса.

Генерал Ронжин явился в ненавистный ему штаб, как грозный судия, держа в руках карающий меч правосудия. Велико же было его изумление, когда он узнал, что карать, пожалуй, и не придется, так как самовольная реквизиция лошадей и подвод вызывалась исключительно боевой необходимостью. Или отнимать лошадей и идти вперед, или ни у кого ничего не тронуть и отступать в Крым, — другой альтернативы у донцов не существовало, когда они столкнулись с неприятелем. Дальнейший месяц войны показал, что эта альтернатива постоянно стоит перед всей врангелевской армией, не имеющей никаких запасов.

Главный военный прокурор уехал несолено хлебавши. Создать новое дело о самостийниках не удалось.

Атаман Богаевский остался погостить в штабе. Нелюбитель боевой обстановки, в мирной он был незаменим. Болтая за чашкой чая, он пересказал нам все последние новости анекдотического характера. Он любил в разговорах плавать по поверхности житейского моря и никогда не засматривался в глубину. Свиты его величества генерал Богаевский не привык смотреть в корень вещей.

Он ни словом не обмолвился о международной политике, зато не преминул довольно живо рассказать историю мальчишеского монархического заговора в Севастополе. Несколько мичманов флота, вдохновленных пребыванием в их среде члена дома Романовых, герцога Лейхтенбергского, решили возвести его на всероссийский престол. Для осуществления столь великого замысла образовался даже «комитет действия» человек в 30, проявивший необычайную энергию в ресторанах провозглашением беспрерывных тостов в честь будущего всероссийского самодержца. Эта детская затея стала известна Врангелю, который отправил молодого герцога за границу к его опекуну, быв. великому князю Николаю Николаевичу, с просьбой наставить на ум «претендента».

— Шкуро в 1917 году, — продолжал атаман, — во время мировой войны, командуя партизанским отрядом в Персии, куда был сослан

за убийство Распутина великий князь Димитрий Павлович, тоже предлагал последнему русский престол. «Хочешь, Митька, я тебя царем сделаю?» — говорил Шкуро великому князю под пьяную руку. Но тот поблагодарил и отказался. Кстати, знаете, где теперь Шкуро? Он перекочевал в Константинополь, кутит там и выбрасывает на рынок такую уйму русских денег, что совершенно понизил их курс на цареградской бирже. Не мытьем, так катаньем он вредит нашему делу.

— Христос воскресе, батька атаман, бог даст, к Рождеству совместно освободим Россию от большевистской сволочи, — припоминаю я разухабистую поздравительную телеграмму от Шкуро Богаевскому на Пасхе 1919 года.

— Плохо дело! Атаман на фронте, — мрачно проворчал мой скептик Брусенцев, когда я вернулся домой и рассказал ему все, что слышал в штабе.

— Чего ты, ворона, каркаешь... В чем дело?

— Вот помяни мое слово: раз атаман с нами, неминуема беда. Ведь помнишь, только заявил он к нам в Ново-Алексеевку, как мы едва не попали в лапы к Блинову. Теперь тоже что-нибудь случится. Это не моя примета, я слышал ее от казаков.

— Чушь... Через несколько дней мы переезжаем вперед верст на пятьдесят, в немецкую колонию Гнаденфельдт.

Казачья примета оказалась правильной. Она вполне совпала с нашей: о. Андроник уехал-таки в Евпаторию «ревизовать госпитальные церкви», — и, конечно, стряслась беда.

Красное командование решило одним ударом покончить с крымской армией и, действительно, едва не покончило. Большая конная группа (по сведениям нашего штаба, в 10–12 тысяч), под начальством известного на юге России красного конника Жлобы, должна была продвинуться с востока в открытое пространство в районе дер. Черниговка, в стыке Донского корпуса и корниловцев, и, пройдя до железной дороги Севастополь — Синельниково, отрезать всю нашу армию от Крыма и зажать ее в тиски.

Жлобинское наступление обозначилось в середине июня. Нажим был настолько неожиданный, что Жлоба без труда пошел по немецким колониям вдоль реки Молочной. Части 3-й Донской дивизии (ген. Гусельцикова) попробовали было оказать ему сопротивление под Черниговкой, но были отброшены с большим уроном.

Наша Ново-Васильевка наполнилась всевозможными обозами, которые без памяти драпали на юг. Казаки, отбившиеся в бою под Черниговкой от своих частей, тоже попали сюда и сеяли панику, рассказывая о стойкости и хорошей выправке жлобинской кавалерии.

— Братвы у них нашей — страсть. Есть донцы, есть и кубанцы, — разглагольствовал на улице один гундоровец, окруженный толпой любопытных.

Он, если верить его словам, под Черниговкой попал в плен к красным, видел самого Жлобу, а потом бежал ливадами и теперь «эвакуировался» сам не зная куда.

— Видел я у них и своих станичников, — продолжал он. — Есть и офицеры, что попали в плен к красным в Черноморье... «Дудочки, говорят, чтобы мы когда-нибудь опять стали служить белым. Зачем бросили нас на произвол судьбы в Новороссийске? Показали там себя господа генералы... Довольно тешить их превосходительств, будя с нас». Эти, которых захватили красные у моря, самые злые. Свирипеют почем зря. Растиды твою так, говорят, ваше генералье.

А Жлоба все шел и шел вперед, пока не почувствовал, что для него готовится ловушка. Северная группа красных проявляла слабую активность, и почти вся Крымская армия стала ловить Жлобу. Врангель сам прибыл в Таврию руководить операцией. На Донской корпус возлагалась задача прикрывать Мелитополь и не допускать неприятеля прорваться на восток. Командир корпуса ген. Абрамов вместе с оперативной частью штаба находился вблизи войсковых частей, остальным же центральным учреждениям корпуса было предписано переехать в дер. Мордвиновку, недалеко от устья реки Молочной, в 7 верстах к югу от Мелитополя.

Во время этого отступления нагляднее всего выявилось отношение штабной челяди к ненавистному им представителю закона. Подводы нашлись для всех, но только не для меня. Комендант штаба меня «забыл».

К вечеру громадная деревня опустела. Нигде не бывает так жутко, как в селении, брошенном одной враждующей стороной и поджидающем прихода другой. В Ново-Васильевке точно никто не знал, где мечется красная конница. Ее появление могло обозначиться в любой момент. По ровной степи в сухое время года везде пролегла отличная дорога.

«Забытые», я и мой офицер Брусенцев, легли спать, отдавшись на волю Провидения. Просыпаясь, гадали, в чьих руках деревня, белых или красных.

На наше счастье, утром проезжал через Ново-Васильевку корпусной врач Говоров, который подобрал наши вещи и канцелярию, сами же мы свыше 35 верст ковыляли пешком. После этого путешествия поручик Брусенцев, страдавший ревматизмом, окончательно слег.

Такое отношение проскальзывало во всем. Квартиру для моего крошечного учреждения отводили всегда самую скверную, а чаще всего оставляли без квартиры. На представителя судебной власти даже и корпусные верхи смотрели как на необходимое зло, на неизбежный приданок, а мелкие сошки, равняясь по верхам, хамили, стараясь уязвить беспомощных в хозяйственном отношении служителей белой Фемиды.

Наконец Жлобу окружили. Почувствовав себя запертым в клетку, он начал метаться, как зверь, из стороны в сторону, заморил лошадей, но нигде не мог прорваться, так как наши летчики на французских аэропланах зорко следили за каждым его шагом.

Сидя в Мордвиновке, мы наблюдали по утрам, как целая эскадрилья стальных разведчиков вылетала из своей базы в дер. Акимовке и проносились над нашими головами на север, откуда уже доносился орудийный разговор.

Мы решительно ничего не знали, что творится на фронте. Купались в мутной Молочной, ловили неводом рыбу и в большом количестве марали бумагу. Только когда выстрелы особенно гулко разносились по степи или учащались до крайности, сердца невольно сжимались от щемящей боли.

— Ужели тут и конец всей затеи? Неужели крах?

— Только всего и повоевали! Спасли отечество!

Иронизировали сами над собой.

Противным делалось бумагомаранье по делу о каком-нибудь вестовом полк. Абрамова Александре Хорошилове, похитившем серебряные часы и брюки у крестьянина Рудометкина, или о полк. Григории Чапчикове, тысяча первый раз, невзирая на строжайшие приказы главнокомандующего, учинившем самовольную реквизицию двадцати лошадей в дер. Штейнфельдт. На фронте, под огнем, легче, потому что боевая работа волнует и захватывает. В глубоком тылу, куда не доносится канонада, живут почти мирной жизнью, забывая фронт. Хуже нет болтаться сзади войск, где близость боевых действий мешает сосредоточиться даже на канцелярской работе.

— Полная победа... Конница Жлобы совершенно уничтожена... 4 тысячи пленных и т. д. и т. д., — донеслось до нас 20 июня из Мелитополя.

Еще немного погодя появились газеты. В них победа над Жлобой принимала совершенно легендарный характер. Ей придавали такое значение, точно разбили не отряд Жлобы, а всю Красную армию.

— А сколько еще таких Жлоб может выставить против нас Советская Россия? — говорили скептики.

Участники операции, посещавшие административную часть штаба, которая опять перекочевала в Ново-Васильевку, передавали, что красных постигла неудача из-за самонадеянности их вождя. Жлоба плохо оценил силы противника.

Зимою в 1919 году решительную роль в победе красных сыграла конница Будённого. Сначала она произвела стратегический прорыв неизвестно растянутого белого фронта, а затем уже просто гнала деморализованного противника, у которого в тылу творился кавардак. Теперь были иные условия. Крошечная армия Врангеля, окрыленная победоносным выходом из Крыма и сражаясь с мужеством отчаяния, свободно маневрировала на небольшом, уже изученном, участке.

Благодаря самовольным реквизициям у Врангеля оказалась недурная конница в лице 2-й Донской дивизии, бывших мамонтовцев. Эта кавалерия, вместе с аэропланами, не позволила Жлобе быстро и неожиданно проникнуть в тыл всей крымской армии.

Убедившись в своей оплошности, вождь красных повел свою заморенную конницу к востоку по немецким колониям, не будучи способен даже оказывать сопротивление. Донцы облепили его отряд, как пчелы мед, аэропланы же беспрерывно угощали бомбами эту грузную, обессиленную лавину. Они спускались так низко, что, если верить слухам, в красных войсках распространилась легенда, будто бы наши машины крыльями сбивали головы всадникам.

Когда эта лавина медленно катилась по колонии Вальдгейм, ее просто расстреливали картечью и пулеметами. Выбившиеся из сил лошади еле волокли ноги; всадникам ничего другого не оставалось, как спешиваться и разбегаться куда глаза глядят. Но по обе стороны цепи колоний, по которым пролегала дорога, кружились части Врангеля. Кто прорывался через сады и огороды в степь, того ловили казаки. Попавшие к нам в плен лошади по большей части были до того «запалены», что не годились для дальнейшей службы в кавалерии.

Сам Жлоба успел умчаться на автомобиле, потеряв на полях Таврии и свое войско, и свою боевую славу. Солдаты же его, взятые в плен добровольцами, были представлены пред грозные очи Кутепова. Проходя по их рядам, будущий галлиполийский «Инжир-Паша» выбирал наиболее неприятные ему физиономии и приказывал своему конвою расстреливать их на месте.

По свидетельству генерал-майора Гравицкого, служившего тогда под начальством Кутепова, а ныне преподавателя тактики во 2-й Московской пехотной военной школе, «Инжир-Паша» оставил в живых не более 25 % пленных жлобинцев*. Наше донское командование совершенно не страдало кровожадностью. В Донском корпусе такие расправы составляли редкое исключение и отнюдь не возводились в героизм, как у добровольцев. Врангель ликовал.

Крымские журналисты, купленные и запуганные Ставкой, пре-возносили его до небес, даже сравнивали с Наполеоном. Дело дошло до того, что появилось известие об отправке из Франции в Крым особой комиссии для изучения этой врангелевской операции.

Вождь окрылялся все более и более, убеждаясь, что хотя его армия невелика, но боеспособна. Объезжая после победы донские части и увидев 2-ю Донскую дивизию в конном строю, со множеством пулеметов на тачанках, он, сам матерый гвардейский кавалерист, не выдержал и радостно подпрыгивал на седле, особенно когда полки проходили мимо него церемониальным маршем под звуки

* «Белый Крым» — статья Ю. Гравицкого в жур. «Военная мысль и революция», 1923 г. № 2 (июньская книжка).

оркестра. Даже калмычата, и те награбили кое-где по захолустьям крестьянских лошадей или наловили менее заморенных жлобинских и, гарцуя на них, смотрели героями.

Сразу были забыты вопли населения. Командиры полков, которых не так давно грозный генерал Ронжин собирался вешать в Мелитополе, получили теперь полную амнистию.

Вождь только просил их в дальнейшем воздерживаться от самовольного захвата лошадей. Эта покорнейшая просьба, равно как все прежние и позднейшие приказы по этому поводу, до конца войны осталась гласом вопиющего в пустыне.

XII Война или набег?

Как ни ликовал вождь по случаю удачной операции, в своей душе он не мог не сознавать, что с одной крымской армией он далеко не уйдет, что успех его оружия всецело зависит от хода русско-польской войны, что его победоносное войско не более как орудие в руках французов, что в Крыму теперь не прежняя Гражданская война, стихийное движение по инерции, а лишь смелая авантюра, созданная его, бесспорно, могучею волею.

Дальнейший характер войны показал всю ничтожность врангелевского предприятия.

— Наша цель, — говорил сам вождь в одном из приказов, — покамест ограничивается занятием хлебного района, необходимого для прокормления армии.

После победы над Жлобой боевые действия крымской армии большей частью состояли из коротких ударов и кавалерийских налетов на неприятельские тылы, а еще чаще носили характер оборонительных боев. Непрерывного фронта не существовало. Донцы по-прежнему занимали длинную линию западнее железной дороги Бердянск — Черниговка. Их немноголюдные части терялись в этом степном пространстве. Промежутки между деревнями, занятymi полками, слабо освещались разъездами.

Один только район калмыцкого полка, к северу и югу от г. Ногайска, тянулся верст на 35.

У неприятеля происходило то же самое.

Обычно на день те и другие выходили или выезжали вперед, занимали позиции и забавлялись артиллерией, а иногда и пулеметной перепалкой. К вечеру эта бранная потеха прекращалась, канонада затихала, войска обеих сторон с песнями возвращались в свои деревни и относительно спокойно проводили ночь в крестьянских хатах.

Такой modus vivendi устанавливается иногда на несколько недель. Однажды наша вторая дивизия нарушила его по следующему поводу.

У начдива ген.-лейт. К. шла шумная пирушка по случаю приезда дорогого гостя, лихого конника ген. С. Этот герой находился в крымский период не у дел. Соскучившись в Евпатории, он решил хоть часок подышать родным степным воздухом и чуточку пожить в атмосфере фронта.

— Уважь старика... (этому старику было 40 лет)... Прррикажи сходить в атаку... Ну, пррикажи, что тебе стоит... Уммираю от тоски, — пристал он к ген. К.

Изрядно выпив и осоловев, начдив наконец согласился и отдал соответствующее распоряжение. Дивизия двинулась на восток.

В соседних частях Гусельщикова (3-я Донская дивизия) всполошились. Разъезды и дозоры в глухую ночь донесли, что замечены конные массы, которые движутся в сторону неприятеля мимо правого фланга дивизии. Поднялась тревога. Считая, что это красные возвращаются из ночного рейда в тыл, фланговые части Гусельщикова открыли артиллерийский огонь. В штабе корпуса долгое время ничего не могли понять. Запели полевые телефоны, понеслись по проволоке запросы и распоряжения.

А виновники кутерьмы шли и шли вперед. Красные преследованием спали, никак не ожидая такого неделикатного нарушения установленного порядка. 5-й запасный кавалерийский полк почти весь попал в плен, вместе с командиром полка и его женой, которых захватили в кровати. Бог знает как далеко завели бы нетрезвые герои свое воинство, которое охотно шло на такой налет из-за добычи, если бы из штаба корпуса не полетели вдогонку им грозные приказания вернуться в исходное положение.

Официальная сводка штаба главнокомандующего, разумеется, не преминула отметить этот «молодецкий» ночной набег и его трофеи — 600 пленных, но ген. Абрамов не на шутку рассердился на такой своевольный и сепаратный переход в наступление, которое могло кончиться катастрофой. Когда выяснился источник героического порыва 2-й дивизии, ген. С. получил спешное предписание покинуть район корпуса, а начдив ген. К. — недельный отпуск для проветривания.

В эпоху Гражданской войны в Англии благочестивые полководцы Кромвеля изучали военное искусство по Библии, на опыте войн евреев с филистимлянами, амаликитянами и моавитянами. В нашу Гражданскую войну стратегия и тактика также опростились. Крымская эпоха, невзирая на все противодействие Брангеля, тоже отдавала партизанщиной.

Обилие у богатого населения перевозочных средств давало войскам возможность развивать необычайную подвижность.

Пехота во время передвижений ехала на подводах. Широко практиковался метод Махно устанавливать пулеметы на «тачанки». Число пулеметов в пехотных полках доходило до 150. Впоследствии,

в период изгнания, некоторые врангелевцы поступили во французский иностранный легион в Алжире, и там, на северной окраине Сахары, успешно использовали этот метод нашей Гражданской войны в стычках с дикими сынами пустыни.

Опыт заменил военное образование, смелый порыв — кабинетные диспозиции.

С точки зрения военно-научной типичным полководцем Гражданской войны надо считать донского генерала Адриана Константиновича Гусельцикова. Старый кадровый офицер, он выдвинулся в эпоху восстания донцов в 1918 году, командуя отважными казаками Гундоровской станицы, которые избрали его своим командиром. Затем он занимал высшие должности.

Малообразованный казак, строевик, он не признавал никакой школьной тактики, никакой стратегии.

— Да нну... Да какие там планы сражения, — иронизировал он над генштабистами. — Вот моя тактика — команда, за мной, бей эту сволочь! Налетели, и кроши.

— Где-то нынче наш Гусь летает? — говорили про него казаки.

Гусь, действительно, летал по степи, одерживая легкие победы над неорганизованными отрядами красных. Этих побед еще до Крыма у него насчитывалось до сотни, так что его называли «стопобедным генералом». Этот вечно пьяненький «Ген-Гус» (генерал Гусельциков) — так сокращенно звали его офицеры — пользовался громадной популярностью среди казаков, которые вождях ценили больше всего отвагу, личную храбрость.

Но он годился только для партизанской войны. Случалось, что во время серьезных операций из-за его презрения к элементарным правилам устава его части попадали в беду. Так, однажды, в Крыму его дивизия не подняла белых щитов для отличия своих, вопреки распоряжению свыше, и наши летчики, приняв казаков за неприятеля, засыпали их бомбами, погубив немало народа.

Война стала родной стихией для «Ген-Гуса». При отсутствии у него всяких других запросов она давала содержание его жизни. Он не извлекал из войны большой выгоды, это не был ни честолюбец, ни корыстолюбец, ни бывший капиталист, ни бывший помещик. Он просто не знал, что ему делать без Гражданской войны. Ни на что другое, кроме войны, он не годился. Лагерь заменял ему семью, дружеская пирюшка составляла для него высшее развлечение. Все, что не касалось войны, он считал пустяком; всех, кто не воевал, он звал «гнидами». В тыловые города он не любил показываться, а когда попадал туда, чувствовал себя там чужим человеком. Зато в боевой атмосфере он дышал свободно, как рыба в воде. Образ его жизни, его привычки нисколько не менялись, где бы он ни находился. Однажды я обедал у него в колонии Гнаденсфельдт во время боя, который шел подле колонии. Если бы не грохот орудий, треск

пулеметов и готовые к внезапному отъезду подводы, можно было подумать, что это обычный лагерный обед. Штабные разместились по чинам, вестовые прехладнокровно разносили блюда с кушаньями, ели сладкое, потом пили чай и разговаривали о женщинах. О ходе боя никто и не заикнулся. Боевая обстановка стала обыденной, и на нее не обращали внимания.

Командиры донских полков, особенно бывшего мамонтовского корпуса, очень недалеко ушли от Гусельцикова по своему развитию и замашкам. Только, как люди молодые, они более озорничали. Особенно прогремели в крымский период командиры Платовского полка ген. Рубашкин и Калединовского полк. Чапчиков. Первый из них при занятии в июле станции Пологи захватил красный бронепоезд «Лев Троцкий». Казаки-платовцы просили ген. Абрамова наименовать эту военную добычу в честь своего вождя — «Генерал Рубашкин».

— Ну, как я мог согласиться на это! — рассказывал мне Абрамов в Гальбштадте. — Назвать — назовем, а вдруг завтра этот препроправленный герой устроит такой дебош, что станет стыдно за бронепоезд.

В Пологах же один из донских полков захватил в числе другой военной и невоенной добычи медвежонка. Натешившись им вволю, командир полка продал этого четвероногого артиста другому вождю за 25 тысяч «николаевскими» деньгами и за две пленных сестры милосердия.

Как разить нам было красных
Под командой сих прекрасных
Полководцев и вождей,
Доморощенных стратегов! —

грустно восклицает подпольный сатирик Б. Жиров, высмеивая донских военачальников этой эпохи.

Для погромов, кутежей,
Для грабительских набегов
По далеким по тылам,
Для насилья дев и дам,
Спору нет, они годились,
В остальном же провалились.

Боеспособная с внешней стороны, крымская армия страдала внутренним разложением.

У добровольцев царила специфическая «добровольческая дисциплина». Она основывалась на боевом товариществе и на общности материальных интересов, но отнюдь не на идеином фундаменте. О России, о русском народе они мало думали. Более того, они презирали этот народ, среди которого воевали, за его сиденье на печи в то время, как они парили в воздухе. Сознание своей отверженности

и отчужденности ото всего мира порождало невольную спайку атомов этой кондотьерской ассоциации, как в шайке какого-нибудь Карла Мюра. Врангель, стремясь создать однородную «русскую» армию на старых началах, добился только того, что добровольцы признали его вождем. Но их внутренняя структура в Крыму осталась прежняя.

Они совершенно не уважали никого, раз он не доброволец, будь он хоть в распогонеральском чине. В смысле назначения на командные должности решающую роль играл вовсе не приказ высшего начальства, а «добровольческий стаж», т. е. время, проведенное в «цветных войсках», и санкция той части, где имелась вакансия. Со стороны никто не смел сунуться к ним на командные должности.

Чин у добровольцев играл второстепенную роль. Порою капитаны командовали ротами, поручики — батальонами. Вновь направляемые в их части офицеры, независимо от чинов, назначались рядовыми в особую офицерскую роту. Над ними глумились и издевались, как в школе над новичками. Штаб главнокомандующего, молчаливо соглашаясь с выдвижением на должности молодежи, старался быстро повышать в чинах тех, кто по занимаемой должности имел право на высший чин, чтобы не отступать от принятого в старой армии порядка. Безусые командиры батальонов с молниеносной быстрой превращались в подполковников и полковников, число которых все росло и росло. Вновь произведенные заражались высокомерием и мечтали о себе более, чем заслуживали. Когда выяснялась их непригодность к занятию высоких должностей, они уже не хотели переходить на младшие: чин не позволял! Таким образом, благодаря повышению в чине навсегда портились те офицеры, которые вполне были на своем месте, командуя взводами и ротами, но не годились для более высоких должностей. Вообще, можно смело сказать, существование чинов принесло страшное зло белому стану.

Казаки спокон веков отличались своей особой товарищеской дисциплиной, но теперь в основе ее лежала не только общность происхождения начальников и подчиненных из казаков одной станицы, но и общность цели — возвращение к родным очагам, что не так интересовало бездомную добровольческую голытьбу. Казаки, дети народа, скорее находили общий язык с крестьянами, нежели деклассированные «цветные» вояки. Добровольцы сражались, как профессионалы-ландскнехты, донцы — от тоски по родным хуторам, те и другие вместе — от безвыходности своего положения.

— Война до победы, грабеж до конца! — был боевой лозунг добровольцев.

— Скорей бы до дому, а там и умереть можно, — говорили казаки. — Больше со своего Дону никуда не сдвинемся.

Кондотьеры-добровольцы питали органическую ненависть к красивым. Земледельцы-казаки в крымский период уже избавились от зоологической вражды к врагу, зная, что добная половина красной

кавалерии состоит из таких же, как они, казаков. Вихрь событий и новороссийская катастрофа раскидали их то в ту, то в другую сторону.

Лучше всего эта разница между донцами и добровольцами оттенялась отношением к пленным.

Приказ Врангеля от 29 апреля за № 3032 предписывал «комиссаров и других активных коммунистов уничтожать на поле сражения». К чести красноармейцев надо сказать, что они никогда добровольно не выдавали ни своего комсостава, ни политруков. Однако нужно было как-нибудь обнаружить этот криминальный элемент. Донцы относились к этому формально, добровольцы с наслаждением. Наибольшей жестокостью прославился генерал Туркул¹⁴, начальник дроздовской дивизии, которая гремела в крымский период.

Дело извлечения «коммунистов» из общей массы пленных у него стояло на должной высоте. Отобрав нескольких подозрительных пленных, он заставлял их указывать коммунистов, грозя в противном случае немедленно расстрелять их. Для большей остроты кой-кого и приканчивали. Перепуганные пленники, идя по рядам своих товарищ по несчастью, тыкали пальцами куда попало. Новоявленных коммунистов выводили из строя и, в свою очередь, требовали указать, каких коммунистов они знают среди пленных. В результате подобных опытов случалось, что четвертая часть всех дроздовских пленников оказывалась коммунистами и уничтожалась во исполнение врангелевского приказа. Иных забивали насмерть шомполами, других травили собакою доблестного вождя дроздов.

До какого исступления доходил ген. Туркул, можно судить по следующему факту. Один военнопленный мальчик, всматриваясь в лицо унтер-офицера из конвоя Туркула, заявил, что этот дядя служил у красных и занимал должность политрука. При опросе унтер-офицера оказалось, что он, действительно, когда-то служил в Красной армии взводным командиром, попал в плен к белым, добровольно вступил в ряды дроздов, исправно нес службу и даже отличился в боях. Невзирая на слезные просьбы окружающих, Туркул распорядился немедленно расстрелять несчастного.

Самым больным местом крымской армии было пополнение ее людским составом. Крестьяне уклонялись от мобилизаций, горожане находили тысячи способов «окопаться в тылу»; а убыль бойцов на фронте требовалось пополнить.

Добровольцы в деникинское время производили «добровольческие мобилизации», до крайности раздражавшие население. В Новороссийске я сам был «мобилизован» марковцами, т. е. меня, в то время военного прокурора Войска Донского, отбившегося от штаба своей армии, захватили ночью, с 13 на 14 марта, на улице и поставили в строй, во 2-ю роту, под команду капитана Нижевского. В одной только этой роте оказалось «мобилизованных» таким же образом

казаков до 20 человек, офицерская же рота наполовину состояла из подобного благоприобретенного элемента. По прибытии в Феодосию и по выгрузке нас, новых «добровольцев», окружили караулом, чтобы мы не разбежались. Я попробовал было доказывать командиру полка, юному, но необычайно грозному капитану Марченко, всю несущность такого способа пополнения полка «добровольцами». Меня обругали. Подозвав к себе уличного мальчишку, я дал ему денег, поручил разыскать штаб Донской армии и передать записку генералу Кельчевскому, номинальному военному министру южнорусского правительства, с просьбой немедленно приехать в порт и освободить всех донцов из плена. Однако мальчишка более не возвратился к нашей стоянке под открытым небом. Тогда я пошел на хитрость, попросившись в отпуск до 3 часов дня. Мне дали форменную увольнительную записку, где наименовали меня чином «1-го офицерского имени генерала Маркова полка». С пристани я насилиu добрался до центра города, так как на окраинах производили «мобилизацию» корниловцы. Разумеется, я больше не вернулся к милым марковцам, а потом в Севастополе доложил ген. Ронжину о такой странной вербовке, которая сильно напоминает набор французами суданских негров для пополнения своих колониальных частей. Врангель сейчас же разразился грозным приказом, воспретив раз навсегда такое своеование, которое порой заходило так далеко, что окружали целые кварталы и забирали решительно всех способных носить оружие мужчин.

Лишенные этого источника пополнения, добровольцы в Крыму могли только загонять в свои ряды пленных красноармейцев. Из числа последних находилось немало таких, которые в конце концов и добровольно соглашались сменить собачье существование в концентрационных лагерях на сытую, хотя и опасную, боевую жизнь. Чтобы предупредить переход красноармейцев к своим, им не нашивали, а вшивали добровольческие отличия в одежду так крепко, чтобы никак нельзя было сорвать в нужную минуту; с отличиями же перебежчик рисковал в пылу сражения получить пулю. Однажды в дер. Астраханке на этапе я встретил китайца в форме корниловца. «Хода» тоже защищал «национальную Россию».

Нечего и говорить, что этот новый элемент, попавший в «цветные войска», подвергался суровому режиму, за ним зорко следили и при случае бесцеремонно расправлялись. Подобные «добровольцы» мало способствовали поднятию боеспособности частей. Когда, немного позже, приступили к формированию новых, 5-й и 6-й, дивизий (для корпуса ген. Скалона), то их почти сплошь составили из бывших красноармейцев. При октябрьском наступлении Красной армии солдаты этих дивизий в бою под Б. Токмаком подняли на штыки своих офицеров и сдались красным.

Казачьи части тоже пополняли пленными казаками. Последние, конечно, сразу попадали в свою среду и не становились на положение

парий. В пешие части дивизии Гуселыцикова под конец тоже стали вливать «красюков» (пленных красноармейцев).

В последующих за жлобинской операцией сражениях ряды старых, стойких бойцов все более и более редели, а для замены их не хватало сколько-нибудь удовлетворительного материала. Народ брали где только можно. Но из тыла не так-то просто удавалось выгнать людей на фронт. Создалась особая категория «ловчил», офицеров, которые под всякими предлогами уклонялись от отправки в боевые части. То выискивали болезни, то примазывались к тыловым учреждениям, — словом, на тогдашнем диалекте, «ловчили», предпочитая впроголодь, но «кобелировать»* на бульварах, чем подставлять сътый желудок под вражескую пулю.

Под осень Врангель отправил строгий приказ на о. Мальту, в Египет, на о. Лемнос и другие места, требуя, чтобы все эвакуированные туда офицеры и казаки, способные носить оружие, возвратились в Крым. Ослушникам он грозил страшной карой «в будущем». «Гости английского короля», не так уж плохо жившие на всем готовом за проволокой, без особой радости двинулись в Севастополь, впрочем, только для того, чтобы еще раз испытать прелести новой эвакуации.

Уже в июле сделалось ясным и неоспоримым, что народу нет и не будет и что крымская армия — маленькая шавка, которая выступила против слона, покамест занятого другим делом, вцепилась ему в заднюю ногу и крутилась подле нее. Первая же серьезная операция показала, что крымская армия просто совершила набег на Северную Таврию, а не вступила в fazu новой Гражданской войны.

В ночь на 25 июля части Красной армии начали переправу через Днепр у Каховки, Корсунского монастыря и Алешек. Поредевший корпус ген. Слащёва не мог оказать должного сопротивления. У него в иных полках насчитывалось всего каких-нибудь 130–150 бойцов. Пришлось двинуть все резервы, какие удавалось выискать, до Донского военного училища включительно. В страшных боях корпус Слащёва еще более обезлюдился. Хотя резервы воспрепятствовали неприятелю распространиться по Северной Таврии, но все-таки красные прочно утвердились у Каховки, заняв плацдарм на левом берегу Днепра, в 70 верстах от Перекопа.

Этот пункт оказался ахиллесовой пятой «русской» армии. Красные, владея наведенным мостом через Днепр, в любой момент могли двинуть достаточные силы, чтобы отрезать белых от Крыма. Нам оставалось только ждать этого момента, который не замедлил подойти и в который Красная армия одним взмахом ликвидировала врангелевский набег.

* Учиваться за женщинами.

Оценив значение Каховского плацдарма, Врангель рвал и метал после его утраты. Он обрушился на Слащёва, повинного разве только в том, что принял участие во всей этой врангелиаде. Мужественного защитника Крыма зимою 1919–1920 года теперь признали виновным в сдаче главнейшей позиции и отрешили от командования корпусом. Но пилюлю Врангель позолотил, пожаловав ему титул «Крымского». Главный военный прокурор ген. Ронжин, конечно, сейчас же поспешил создать судебное дело по обвинению Слащёва в каких-то старых грехах, вроде бессудного расстрела пары контрразведчиков. Защитник Крыма, однако, получил воспитание в монархической Доброволии, поэтому ген. Ронжин не мог так легко справиться с ним, как некогда с демократом Сидориным.

Красная каховская болячка побудила Врангеля подумать о зиме, которая всегда несла белым поражение. Началось спешное укрепление Перекопского перешейка, — вернее, издан приказ об этом, так как на деле все фортификационные работы в этом районе свелись к очковтирательству.

Ватаги военнонопленных приступили к устройству опорных пунктов в разных местах. Мелитополь и его окрестности, расположенные на возвышенности, обнесли колючей проволокой, которая сильно стесняла движение крестьянам. Почти перед каждой деревней вырыли окопы, часто на таких местах, что обстрел не превосходил 20–30 шагов.

Вождь — это уяснили все — более думал не о движении вперед под колокольный звон, а о защите того, что захвачено.

Близкое будущее показало, что и защищаться не пришлось. Застигнутый на месте преступления налетчик обычно спешит не защищаться, а удирать.

<...>

Командиры корпусов горой становились за начдивов, начдивы за командиров полков, и так далее. Судебным учреждениям приходилось штурмовать войсковую организацию. Активное и пассивное сопротивление последней сводило на нет борьбу с нарушителями законов. Войковые начальники брали измором военно-судебные учреждения, не отвечая на их запросы и не выполняя их требований.

Даже сам Врангель, грозный на словах, на деле нередко пасовал, милуя тех, о ком сам возбуждал дело. Однажды, сгоряча, он издал громовой приказ о предании суду нашей штабной комиссии пол. Ханжонкова, войск, старш. Сиволобова и хорун. Вифлянцева за самовольную реквизицию лошадей. Комиссия приговорила первых двух (третьего не оказалось в живых) к сравнительно небольшому наказанию. Врангель по ходатайству Абрамова и это наказание простили. Игра не стоила свеч.

Карающий меч правосудия падал на головы виновных только в исключительных случаях. К числу таких неудачников, которые

влипли-таки наконец в беду, относились донской партизан войск, старш. Роман Лазарев и бывший комендант станицы Великокняжеской* есаул Земцов.

Первый из этой четы в 1918 году прогремел на весь Дон бесчисленными убийствами и грабежами. Немало и офицеров сделались жертвами несдержанности этого золотопогонного бандита. Несчетное число дел об его злодеяниях находилось в производстве у военных следователей и, конечно, оставались без движения. Сотни жалоб неслись к атаманскому трону. Ген. Краснов, автор нескольких сентиментальных романов, не проявлял никакой чувствительности в отношении населения.

В проделках Лазарева он видел не более как шалости чересчур живого ребенка.

— Беспутный, но милый моему сердцу Роман Лазарев, — такую красноречивую резолюцию выгравировал Краснов на одной из по-данных ему жалоб на этого бандита.

В феврале 1920 года, уже на Кубани, где грабежи Лазарева, занимавшего административную должность в тылу, чересчур волновали и без того неприязненных к донцам братьев-кубанцев, я и ген. Сидорин совещались, как бы деликатнее ликвидировать этого грабителя, но прорыв Будённого у Белой Глины заставил думать о другом. В Крыму Лазарев попался наконец в руки правосудия, будучи схвачен в Симферополе с поличным. Этот милый мальчик, приятный красновскому сердцу шалун, продавал на базаре дрожки и лошадей только что убитого и ограбленного им за городом извозчика! Таково было последнее художество видного донского партизана. Умер он по приговору военно-морского суда мужественно, на свисты перед вырытой могилой любимую песню.

<...>

XIV Крестьянские думы

В Таврической губернии ко времени революции бессемелья не ощущалось. Здесь преобладал и преобладает середняк, которому плодородная почва дает возможность жить без горя и нужды. Что касается меннонитов** и немцев-колонистов, то многие из них живут настоящими помещиками.

Казалось, эти два господствующих землевладельческих элемента в эпоху боевого коммунизма должны были всей душой тяготеть

* Окружная станица Сальского округа, центр окружного управления.

** Меннониты — голландские сектанты, последователи Симона Менно, который жил в конце XVI в. Переселились в Таврическую губернию при Екатерине Великой.

к белому стану и с радостью встречать избавительницу от советского гнета, «русскую» армию Врангеля. Аграрный закон последнего не мог пугать крупных землевладельцев, хотя бы по одному тому, что покамест окрестное население вовсе не нуждалось в их земле.

Тем не менее сельский люд не был с нами. Народ для армии Врангеля оставался таинственным незнакомцем. Никакими средствами, ни ласками, ни угрозами, новому вождю не удалось расшевелить его и привлечь на свою сторону.

Г. Н. Раковский, который, кстати сказать, в период крымской кампании находился за пределами России, пишет в своей книге «Конец белых» про крымский период:

«Кто не был по духу профессионалом-кондотьером, несмотря на удачи на фронте, чувствовал глубокую неудовлетворенность Гражданской войной, отсутствие веры в правоту своего дела и не чувствовал никакой духовной связи с враждебно относившимся населением».

Глубокая неудовлетворенность Гражданской войной и отсутствие веры в правоту своего дела родились именно под влиянием сознания своей отчужденности от народа.

Трафаретная легенда о цветах, которыми население освобожденных от большевиков местностей забрасывало войска, поблекла скорее, чем эти мифические знаки благодарности. Народ безмолвствовал при виде «избавителей». Крестьяне отказывались говорить с ними на политические темы. Или, переминаясь с ноги на ногу, почесывали в затылках и нехотя бормотали:

— Да, конечно, эта камуна для нас неспособна. Много крестьянина обижают.

— Много, говоришь?

— Страсть как много... Продразверстка всякая, опять же эти реквизиции.

Только эти «обиды» крестьянин мог поставить в вину коммунистической власти. О том, что эти меры вызывались крайней государственной необходимостью, он не постигал своим умом. Всякое посягательство на часть своего урожая он считал преступлением власти. Так как этим грешили и белые, он и белых встречал холодно.

— Для крестьянина та власть хороша, которая не только от него ничего не брала бы, а еще ему бы от себя давала, — сказал кто-то где-то.

Запломбированный вагон, позор Брестского мира, попрание национальных идеалов и все прочие жупелы, которыми Осваг пытался вдохновить ненависть к большевикам среди войск и интеллигенции, крестьянин не переваривал в своем мозгу. Не более осиливал он и «Святую, Великую, Единую, Неделимую», полный титул которой он даже не умел и выговаривать.

— Да о чём вы спорите? Ведь лучше, если бы замерились. Тогда, может, и нам лучше стало бы, — говорили, разоткровенничавшись, некоторые бородачи.

Во всей этой кутерьме они понимали одно: война, которую проповедовал Врангель и на которую звал население, крестьянину не нужна и вредна. До такого понимания он доходил не путем отвлеченных размышлений о партийных программах, а в результате непосредственного ощущения последствий войны на своей шкуре.

— Вы деретесь, кто знает, какие у вас счеты, ну а мы-то тут при чем? — молчаливо говорили мужики, предпочитая худой мир доброй ссоре.

Крестьянская молодежь реагировала более определенно и более сознательно. На ее развитие большое влияние оказали революционные годы, а особенно пропаганда большевиков. Белые по части пропаганды пасовали. Общая болезнь белого стана — инертность и мертвичина — сказывалась и на работе Освага. Его белоручки-агитаторы не шли в толщу народа, не умели и боялись говорить с ним. Они научились пускать лживые слухи, расклеивать афиши, раздавать газеты, но менее всего пользовались живым словом.

У красных дело, видимо, было поставлено по-иному. В дер. Акимовке до слащевского десанта стоял штаб конницы Блинова. Разумеется, здесь подвизалось немало большевистских агитаторов. И что же? Эта громадная деревня считалась у нас большевистской настроенной. Здесь в июне обнаружили целую крестьянскую организацию, во главе которой стояла семья Озеровых, переправлявшая через белый фронт отсталых красных и тех, кто хотел перебежать из нашего стана в неприятельский. Озеровых судили, и двух из них, в том числе молодую Парасковью, присудили к четырехлетнему заключению в тюрьме.

— Четыре года?.. ха-ха-ха... — рассмеялась Парасковья Озерова, когда ее отправляли в Симферополь. — Да я уж через четыре месяца буду на свободе.

— Кто ж тебя освободит?

— Красные... ведь недолго тут хозяйничать вам.

— Почему они тебе так нравятся?

— Потому что это наши... Нету страха к ним... Разве не видели снимков, ведь у нас отобрали кучу фотографий... Все ихние начальники запанибрата с нами поснимались. И Блинов тоже... А вас мы боимся... Чужие вы, вот что.

Она твердо верила в силу красных. Через четыре месяца она, действительно, вышла на свободу, но ее освободила не Красная армия, а амнистия, которую объявил Врангель 24 сентября, по случаю полугодовщины своего владычества.

Крестьянская молодежь, естественно, чувствовала больше симпатии к той армии, которой управляли молодые вожди, простые и доступные, и в которой ключом была энергия и свежая черноземно-фабричная сила. Это нетрудно было заметить по разговорам с молодежью. У нас она видела или старых олимпийцев, превосходо-

дительных генералов, или сопляков в офицерских погонах, но уже чванных, зазнавшихся благородий и высокоблагородий.

Однажды в Большом Токмаке, где мы стояли осенью, молодая учительница в беседе с группой штабных упомянула о том, что ми-нувшей зимой ей случалось посещать вечера красных курсантов.

— Воображаю, какое там было хамство, — воскликнул один из генералов.

— Представьте себе, ничуть не больше, чем на вашем гарнизонном вечере, который я посетила вчера. Пьянства во всяком случае у них я видела меньше, чем у вас, и больше простых, но славных юношей, далеко не так испорченных, как многие ваши.

Молодой крестьянин-подводчик из дер. Царедаровки, возивший меня в кол. Гнаденфельдт к ген. Гусельщикову, разглагольствовал в дороге:

— Ваши сами во многом виноваты. Слыхали мы, когда еще вы сидели в Крыму, что Врангель у вас заводит хорошие порядки. Что ж, думаем, посмотрим. Ждали вашего прихода. Знаем, что весной не замедлите объявиться. Тут еще проносится весть, что и помещиков не признает Врангель, вся земля окончательно отойдет крестьянам. Не забыли, как при Деникине кавалерийские офицеры, помещичьи дети, мужиков драли за то, что те не платили им оброку за бойкие годы. При Врангеле, думаем, этого не будет. Высадился Слащёв. Все как будто хорошо, никому обиды. Мы, молодые, ходим-бродим подле штаба полка, что стоял у нас. В штабе обедают, играет музыка. Да вдруг как грянет она «Боже, царя храни», да раз, да другой. А там следом кричат ура. Нас как кислым облило... Вот оно что... Ну, кто с царем, тот и с помещиком. А этим-то уж ни в жизнь не бывать. До свиданья, сказали мы, нам, видно, не по пути.

Те колоссальные жертвы, которые потребовало от населения затеянное Врангелем предприятие, усугубляли нерасположение крестьян к «русской» армии.

Лошади, упряжь, телеги, скот — все быстро истреблялось беспощадным Молохом. Крестьяне предвидели, что на следующий год им не на чем будет обрабатывать свой тучный чернозем, что богатейший край запустеет, высохнут их молочные реки, расползутся кисельные берега.

При всем том население, особенно молокане и баптисты, проявляли чисто русское гостеприимство. Радушно поили и кормили нас, но отнюдь не из сочувствия к делу Врангеля, а из природного человеколюбия и — увы! — из сожаления.

— Бедненькие! Сколько вам приходится мыкаться по свету. Не бось соскучились по родным? Некому и позаботиться о вас, — причитали сердобольные хозяйки.

— Что же, о. Андроник, — говорил я нашему корпусному священнику, — вот вы утверждаете, что мы делаем народное дело, а народ

не чувствует органической связи с нами и ждет не дождется, когда мы уберемся за Перекоп.

— Здесь, видите ли, не настоящая Россия. Тут всякие сектанты или немцы-колонисты. Молокане ушли от православия и перестали быть истинно русскими людьми. Колонисты — меннониты, немцы, болгары — совсем уж не наши, хохлы тоже не наш брат, великоросс.

О. Андроник не ошибался. Тут была не настоящая Россия. Настоящая же — рязанская, калужская, московская, тульская — стояла против нас, с ощетиненными красноармейскими штыками.

Стесня сердце крестьянство Таврии мирилось с реквизициями, с ропотом выполняло подводную повинность, но совершенно отказывалось подчиняться приказам о мобилизации. Можно смело сказать, что ни одна врангелевская мобилизация не прошла. В июле в дер. Ново-Васильевке, где около 10 000 населения, в назначенный для призыва день на сборный пункт не явился ни один человек. Молодежь убегала в степь или скрывалась в соседних деревнях.

Скоро милостивый к крестьянству лик белого вождя начал омрачаться. Посыпались угрозы предавать ослушников военно-полевому суду.

Не помогло.

Приступили к насильственному набору. В деревнях устраивалась охота за черепами. В то время, как одна часть армии Врангеля сражалась против большевиков, другая вела операции против уклоняющегося от призыва молодняка по всем правилам военной науки. С ночи деревню, точно неприятельскую позицию, окружали цепями, на рассвете приступали к штурму, т. е. к повальных обыскам. У выходов из деревни ставились посты. Особые дозоры следили за тем, чтобы кто-нибудь по задворкам не скрылся в степь.

Я сам был свидетелем такой ловли в дер. Ганновке (Бердянского уезда). Проезжая утром по деревне, услышал рев и причитания.

Из одной хаты вышел поручик пешей комендантской сотни нашего штаба Волков с казаками, ведя за собой живой товар.

— Два дня уж мучусь тут... Ничего противнее не приходилось выполнять за всю свою жизнь. На фронт, куда угодно с радостью пойду, лишь бы не на этакое дело, — с искренней скорбью на лице обратился он ко мне, подходя к моей «тачанке».

Это был довольно культурный офицер, пришелец в казачьем корпусе. Тыловая служба его тяготила — это знали все. Просился в строй, — не приняли из-за слабости зрения.

— Ну, теперь-то уж попаду на фронт, — говорил он, техник по образованию, узнав, что в Пологах донцы захватили бронепоезд. Кстати, тогда же был захвачен медвежонок, о чем тоже не умолчала официальная сводка штаба главнокомандующего.

Поручик подал рапорт, прося зачислить его на бронепоезд.

— Вакансий на бронепоезде нет, а вот нужен вожак для медведя, — последовала шутливая резолюция.

Бедняга так до конца крымской эпопеи и не мог избавиться от неприятной службы.

С ловлей «зеленой армии», как в шутку звали себя дезертиры, дело клеилось плохо.

А вождь становился все грознее и грознее. В августе он разразился громовым приказом, повелевая хватать и сажать под арест родителей и жен уклоняющихся от мобилизации, имущество же их подвергать конфискации.

С щемящей болью на сердце тыловые команды начали ловить молодух, старииков, старух и запирать их в сараи под караул. Стон и плач пошли по деревням. Противно было выходить на улицу, когда происходили подобные операции.

И эти драконовские меры мало помогали. Спасать «Святую, Великую, Единую, Неделимую» никто не хотел.

Тех злосчастных, которые попадали в тенета охотников за черепами, под усиленным конвоем водворяли в запасные части. Оттуда они удирали при первом удобном случае. Оружия не рисковали выдавать этим новобранцам.

В Крыму сделался ходячим следующий анекдот, характеризующий, сколь велика была польза от таких вояк:

— Красные наступают, — телеграфируют в тыл из штаба корпуса, — примите меры.

— Меры приняты: запасные части обезоружены, — отвечают оттуда.

Меннониты, голландские сектанты, поселенные в Бердянском уезде при Екатерине Великой, проявили несколько большее усердие к врангелевскому делу, нежели русское население Северной Таврии.

Их религиозное учение запрещает пользование оружием; поэтому в царское время их не назначали в воинские части, а составляли из них особые команды, главным образом для охраны лесов. Весьма зажиточные землевладельцы, они не имели особых оснований любить большевистские порядки. Когда Врангель захватил Бердянский уезд, их синод начал обсуждать вопрос, во всех ли случаях грешно пользоваться оружием, и в конце концов пришел к выводу, что большевики — враги религии, а потому вооруженная борьба против них является богоугодным делом.

Материальный интерес взял верх над чистотой религиозного учения, и они сформировали свой специальный колонистский полк.

Нужда закон меняет.

Однако о боевых действиях этого полка в Крыму не приходилось слышать, а за границей не оказалось даже следов его. Видимо, он тоже воевал на манер запасных частей, которые приходилось обезоруживать при приближении неприятеля.

Врангель, каюая ослушников приказов о мобилизации, в то же время из сил выбивался, чтобы показать народу свои заботы о нем.

Случалось, что он сам позволял себе такую роскошь, как публичные выступления на крестьянских сходах. Человек с темпераментом, он говорил веско, убедительно, позволял себе даже демагогические выпады.

Ничего не выходило!

Вместо единодушного порыва на Москву, вместо идейного вождения — тоскливые лица и сдавленный ропот.

— Подвод бы поменьше брали... Реквизиции заели... Нельзя ли пореже реквизировать.

Экспансивный вождь, обдав презрительным взором тупую чернь, с досадой уходил с трибуны.

— Речь главнокомандующего крестьяне приветствовали шумными овациями и единодушным решением отдать все для блага родины, — писали газеты об одном таком выступлении вождя в громадной дер. Ново-Михайловке.

Кого хотели обмануть осважники — сказать трудно.

Крестьянство чуждалось «русской» армии. Оно предвидело ее неудачу ввиду несерьезности затеянного предприятия. Когда был опубликован аграрный закон Врангеля, на который вождь возлагал громадные надежды, землеробы не выразили ни малейшего ликования, даже не поинтересовались этим законом.

— Выгоните сначала из России красных, а потом издавайте законы. А то, что проку: завтра вы запрячетесь в Крым, — и все мигом пойдет наスマрку. Нечего делить кожу неубитого зверя.

Этот закон оказался медью бряцающей, кимвалом звенящим. Исполнители его, графы Татищев и Гендриков, не видели надобности спешить с проведением в жизнь аграрной реформы. В дер. Мордвиновке, всего в 7 верстах от Мелитополя, крестьяне не знали о существовании этого закона в конце июня. О более северных местностях говорить не приходится.

Обломки старой царской администрации в Крыму показали себя исключительно с отрицательной стороны, так что народ еще лишний раз имел случай убедиться в прелестях старого режима. С. Бородин, тот самый, статьи которого погубили Сидорина и который сейчас в Болгарии рассыпается против беззаконной советской власти, в Крыму, где он был начальником штаба запасной бригады, в рапорте ген. Абрамову доказывал необходимость предания суду военно-судебных комиссий чинов администрации, так как «они своими беззакониями сознательно подрывают авторитет нашей власти и содействуют большевикам».

Все прогнило от верху до низов. Администрация изощрялась в изобретении тысячи способов для пополнения своего кармана, причем наиболее невинным следует признать взяточничество. Открыто производились сборы от «благодарного населения» молочных продуктов и живности в пользу начальника гражданского управления Северной Таврии графа Гендрикова.

Врангель, с обычной горячностью, обрушивался на администраторов, когда до него доходили сведения об их проделках. Но, разумеется, по общему правилу пострадало несколько мелких сошек, не имевших заручки в верхах. Не говоря уже про графа Гендрикова, — любой его чиновник для поручений мог вытворять, что его душеньке угодно, забронированный благоволением начальства. Попались два или три мелких полицейских чина и какой-то пограничник, помощник мелитопольского пристава, которых Врангель предал военно-полевому суду и расстрелял. Офицер, видимо, был новичок в администрации и не умел обделять свои дела так, чтобы не осталось следов.

Особенно много грязи скопилось вокруг правительственной заготовки хлеба от населения. Тут царила неслыханная вакханалия воровства. Под правительственной фирмой многие должностные лица, вплоть до самого главы врангелевского правительства Кривишайка, спекулировали вовсю. Агенты крымского Внешторга выменивали хлеб на товар. Интендантство, делая закупки для войск, расплачивалось обесцененными бумажными деньгами, пачками голубеньких пятисоток, которые звали «хамсой»*. Крестьяне, конечно, предпочитали получать плату мануфактурой и избегали сделок с интендантством. Последнее прибегло к принудительной реквизиции, вызвавшей осенью новый взрыв народного вопля.

Неурядица царила везде и всюду. Все бились в судорожной агонии, желая хоть лишний день, хоть лишний час пожить вольготной жизнью. Хоть день, хоть час, да наш. И все кормились и наживались от крестьянина. Какую ценность могли иметь при таких условиях заботы вождя о благе крестьянства, хлеб которого принудительно забирали интенданты, лошадей или реквизировали, или до смерти загоняли при выполнении подводной повинности, сыновей под конвоем тащили в запасные части, а хаты заполняли непрошеными гостями?

Крестьянин был самое бесправное существо среди властной военщины. Каждый считал себя вправе командовать им, вмешиваться в его даже личную жизнь. В дер. Мордвиновке один крестьянин во дворе ругался с женой, — казаки комендантской сотни арестовали его. Казначей нашего штаба шт.-кап. Красса в Ново-Васильевке сблизился с одной молодой молоканкой, которая была выдана в дер. Астраханку, но бросила мужа и вернулась к родителям. Возник спор из-за приданого. Вмешательство шт.-кап. Крассы разрешило дело. Когда штаб переместился в Астраханку, он отправил караул, охранявший денежный ящик, в дом покинутого супруга. Вооруженные казаки исполнили миссию блестяще, погрузив на подводы все, что считали приданым.

* Хамса — мелкая черноморская рыба, на манер снетков.

Такое хозяйствичанье считалось в порядке вещей.

Врангель шел со своей «русской» армией «спасать» народ. А этот народ руками и ногами отбрыкивался от этого спасения.

Чтобы хоть как-нибудь заманить крестьянскую молодежь в армию, Врангель, такой враг партизанщины, пошел на уступки. Уже в конце июня в деревнях запестрели на заборах возвзвания каких-то «атаманов батьки Махно», по всей вероятности мифических, Павленко и др.

«Русская армия, — гласили они, — теперь отстаивает как раз то, что надо русскому народу и за что борется Махно. Посему записывайтесь в наши отряды, формирование которых разрешено главнокомандующим».

Этот трюк тоже не удался.

Махно, бесспорно, пользовался симпатией, но отнюдь не трудового крестьянства, а лишь бандитских элементов деревни. За полгода жизни в деревнях я ни от одного крестьянина не слышал иного отзыва о махновцах, как о грабителях, которые каждый раз, как появлялись, увозили из деревни целые возы награбленного добра. Немало сожженных домов в немецких колониях краше всяких слов говорили о характере деятельности этого тоже спасателя отечества.

Все, кто любил Махно, давно уже «мобилизовались» и в это время громили под знаменами батьки тылы красных. Только одному «атаману» Володину удалось с разрешения Врангеля навербовать в Таврии шайку в 50 головорезов, которая сейчас же начала громить тыл белых. Разоренный Врангель приказал схватить и расстрелять Володина.

Таким трагическим эпизодом начался и закончился союз «русской армии» с «войсками Махно».

Если крестьянская молодежь ни за что не хотела идти добром ни к Врангелю, ни к Махно, то неволя загоняла ее в зеленые банды.

Еще в 1918 году в Крымских горах появились представители этого сомнительно идейного движения. Эсэры видели в зеленых протест народных масс против генеральской и пролетарской диктатуры и лезли из кожи, чтобы приkleить зеленым эсэровским ярлык, присвоить им эсэровскую идеологию.

Зеленые, действительно, при белых заявляли протест против белых, при красных — против красных. Но если бы и эсэрам удалось захватить власть и завести кой-какой порядок, они протестовали бы и против эсэров, равно как против всякого другого государственного строя, за исключением пугачевщины. Зеленые олицетворяли анархическое, разрушительное начало, неизбежный последыш страшного социально-политического кризиса. Говорить о наличии у них какой-нибудь определенной идеологии более чем странно. В зеленые шли все, кому было противно подчиняться власти и признавать стеснительные нормы закона. У них находили пристанище дезертиры, обычные любители легкой наживы и те, кому грозила судебная кара.

В Крыму во главе зеленых банд, бродивших в горах, стоял легендарный капитан Орлов, сначала сподвижник ген. Слащёва, а затем его враг.

В январе и феврале 1919 года, в период колебания владычества белых, он захватил на несколько дней власть в Симферополе, образовав так называемую обер-офицерскую организацию. В это время всеобщего разочарования в Гражданской войне в Крыму росло и зрело недовольство генералитетом, особенно начальником края ген. Шиллингом, который запятнал себя спекуляциями с валютой и другими проделками, обеспечивая себе безбедное существование за границей. Другие генералы тоже подражали ему, пользуясь своим всевластием и безответственностью.

Пешки предвидели, что генералы в один прекрасный день сбегут за границу со своим благоприобретенным добром, любезно предоставив их шеям расплачиваться за Белое движение. Кое-где стали подумывать о том, что не мешает установить за генералами надзор и, во всяком случае, не отпускать их за границу. Капитану же Орлову пришло на мысль просто-напросто ликвидировать в Крыму генеральскую власть. Однако Слащёву удалось справиться с ним. Вынужденный бежать в горы, энергичный молодой человек, преследуемый властью, объединил вокруг себя шайки дезертиров и бандитов и начал партизанскую войну с правительством, нападая на должностных лиц, подвергая ограблению целые местечки и т. д.

Другой вождь зеленых, капитан Макаров¹⁵, адъютант бывшего командующего Добровольческой армии ген. Май-Маевского, мстил за своего брата, повешенного контрразведкой.

Татарское население, терроризованное зелеными, а отчасти и живаясь от них, давало им приют, снабжало продовольствием, предупреждало об опасности, прятало в горных дебрях и т. д., так что они оставались неуловимыми. Слабые отряды государственной стражи (полиции), умевшие успешно воевать с мирным населением, ничего не могли поделать с засевшими в горах шайками. В конце концов для истребления зеленых Врангель начал формировать тыловую армию, поручив командование ею генералу Носовичу. Но было уже поздно, так как и фронтовая армия дрогнула. Красная власть быстро справилась с этой заразой.

В Северной Таврии, в районе города Ногайска, вдоль Азовского побережья, подвигался партизанский отряд Голика. Он работал в союзе с большевиками и являлся вечной угрозой нашему штабу, пока мы стояли в Мордвиновке. Наша пешая комендантская сотня несколько раз выступала против него. В августе Голик напал на дер. Царедаровку, откуда происходила отправка хлеба в Крым морем, и на дер. Покровку, где стояло много тыловых учреждений.

Правые хотели создать из Крыма монолитную Вандею. А между тем сама наша армия, воюя там, все время была окружена тысячью Вандей различной окраски.

О завоевании всей России при таких условиях могли думать только глупцы.

<...>

Кубанские казаки за время Гражданской войны необычайно разжились, основательно «пощупав» Россию под знаменами Шкуро и Покровского. Отяженев от добычи и распропагандированные радой, они при подходе красных в 1920 году воздержались от сопротивления, отступили на Черноморское побережье и здесь заключили мир с красным командованием.

Однако и советские порядки пришли не по нутру этим избаловавшимся во время войны людям. У них скоро началось «отрезвление от большевистского угара», как писали белые газеты. Недовольные «линейцы»* начали убегать в предгорья Кавказского хребта, «черноморцы»** — в камыши в низовьях Кубани. Более способные к организации великороссы-«линейцы» объединились вокруг полк. Фостикова, который летом поднял форменное восстание в Лабинском и Баталпашинском отделах. Хохлы же «черноморцы», забившись в норы, сидели в бездействии, заслужив даже от своих одностаничников презрительную кличку «камышатников».

Зная все эти кубанские настроения, Врангель решил высадить туда более солидный отряд.

Началась подготовка кубанского десанта.

Безработные казачьи воротили зашевелились. Кто из них не убежал за границу, тоскливо мыкался по Крыму. Как только заговорили о перенесении войны в казачьи области, эта публика почуяла близкое возвращение того благодатного времени, когда можно говорить, интриговать, изображать из себя государственных деятелей и получать за это хорошие оклады.

Врангель, чтобы не нажить в лице этой мелкотравчатой публики врагов в самом начале своего нового предприятия, не мешал ей отводить душу. Разрешая кубанской раде и Донскому кругу, точнее остаткам их, собраться для заседания в Крыму, он предвидел, что после сидоринской истории у многих появится желание не распоясываться чересчур.

Горемычные «хузяева земли донской» после новороссийской эвакуации попали в Константинополь, где, позабыв о всякой политике, сосредоточили все свое внимание «на донском серебре». В состав последнего входили и музейные ценности, и войсковые регалии,

* *Линейцы* — казаки, поселенные в эпоху кавказских войн вдоль так называемые «линий», укрепленной пограничной полосы, в которой жили горские народы.

** *Черноморцы* — казаки, потомки запорожцев, поселенные на Таманском полуострове и на Азовском побережье (Таманский, Ейский и Екатерино-дарский отделы).

и громадная мамонтовская добыча, принесенная в 1919 году ген. Мамонтовым в дар Дону. На это богатство все теперь точили зубы — атаман, правительство, круг. Каждый хотел чем-нибудь поживиться от этого источника.

Однако желание поиграть в государственность было еще так велико, что «хузяева» не замедлили прибыть в Евпаторию, оставив в Константинополе «серебрянную» комиссию, которой поручили зорко следить, чтобы атаманские агенты не загнали донских ценностей иностранцам.

Заседания круга прошли монотонно и бесцветно. Хотя тут разлагольствовали те же самые персоны, что и при Краснове, но теперь от их величия и самообольщения не осталось и следа. Упоенные торжественным открытием первой сессии круга, тогда они смело отправили приветственную телеграмму английскому парламенту, который им ничего не ответил. Теперь даже не рискнули приветствовать собрата по несчастию — тоже бездомную кубанскую раду.

Здесь, в царстве Врангеля, крылья были подрезаны. О сидоринской истории немногие осмелились заикнуться. Больше критиковали Богаевского за его вялость и бездеятельность. Заговорили о замене его кем-нибудь другим.

— Но кого выбрать? — рассуждали «хузяева». — Абрамова? Но ведь его первым правительственный актом будет разгон круга навсегда и отправка всех членов его на фронт, в передовые части. Гнилорыбова? Но у того еще борода не отросла, да и ветер у него в голове гуляет, и семь пятниц на неделе. Генерала Татаркина? Этот погряз в благочестии, министрами назначит попов, а заседания круга заменит молебнами.

Перебрали всех донских генералов и политических деятелей в погонах* — лучше Богаевского никого не нашли.

На нем и порешили: пусть останется старый. Хоть не мудрый, так не злой.

Особая депутация от круга, во главе с атаманом, отправилась на фронт приветствовать Донской корпус.

Большинство фронтовиков, з纳вших только одно ремесло — войну, презирали и круг и раду, рассматривая их членов как дезертиров.

— Круг кружится, рада радуется, — острили на фронте.

— В свою жизнь я бывал в публичных домах и первого, и второго, и десятого разрядов, но в таком заведении, как ваше, признаться, впервые. Не знаю, к какому разряду и отнести его, — говорил Шкуро членам рады.

На Дону тоже ходил рассказ о том, как лихой донской конник ген.-лейт. С., явившись в круг, после одного геройского дела, по обычаю, в нетрезвом виде, так приветствовал донских «хузяев»:

* По Донской конституции атаманом мог быть выбран только военнослужащий.

— Господа, вас здесь триста членов, но все вы не стоите моего одного...

В Крыму на этот раз отличился полк. Гриша Чапчиков.

В то время, как депутатия круга прибыла в Мелитополь, вождь калединцев находился подле этого города, в дер. Песчанке, где размещалась тыловая база полка. По случаю полкового праздника Чапчиков устроил скачки, на которые явился Богаевский, сопровождаемый депутатией. Торжество закончилось скандалом. Пригласив атамана к себе в комнату на пирушку, безрукий герой подошел к окну и крикнул «хузяевам»:

— А вы чего тут еще торчите, сволочь? Угощенья небось дожидаетесь? Ну, а извольте ответить мне, кто из вас на круге поднимал вопрос о том, чтобы повесить меня за то, что я в Туапсе исполосовал ногайкой одного вашего мерзавца? Па-апробуйте повесить. Давайте потягаемся, кто кого сильнее.

Несчастные народные избранники, стоя на площади среди калединцев, замерли от ужаса. Фронтовые казаки очень недружелюбно поглядывали на них и шипели:

— Хузяева... Плетями бы их на фронт... Тоже нашлись хреновые политики.

Насилу атаман утихомирил буйного калединовского вождя.

Врангель отлично сознавал, что в данное время казачьи демократические учреждения потеряли свое политическое лицо, что члены их обратились в простых обывателей, у которых на первом плане стоит шкурный интерес. Разрешая им говорить вволю, сам он с ними вовсе не желал разговаривать и перед отправкой десанта на Кубань заключил договор, минуя эти представительные учреждения, непосредственно с казачьими атаманами. Соглашение, заключенное в Севастополе под звон бокалов шампанского, о чем, не стесняясь, писали газеты, предусматривало будущие взаимоотношения главнокомандующего и казачьих правительств, когда последние вернутся в свои вотчины.

К августу план десантной операции на Кубань был окончательно разработан. Оставалось его осуществить. Во главе десантного корпуса Врангель поставил генерала Улагая, черкеса по происхождению, вполне приличного человека, прекрасного рубаку-кавалериста, но полководца сомнительных качеств.

1 августа началась высадка улагаевских войск у станицы Приморско-Ахтырской, откуда и начали развиваться операции. Еще войска не успели занять пары селений, как уже начался дележ шкуры неубитого медведя. Улагай, во всем покорный Врангелю, назначал свою администрацию, кубанский атаман посыпал другую, рада готовила третью. В Керчь, место переправы на Кубань, уже съезжались администраторы для всей Кубани.

Как раз в этот период мне пришлось выехать из Северной Таврии в Севастополь по делам службы.

Дорога была не совсем безопасна. Хотя наши боевые операции вышли за пределы Таврической губернии, но общее наше положение все время висело на волоске, благодаря каховской болячке. На высадку кубанского десанта красное командование ответило нажимом со стороны Каховки. Обескровленный бывший слащевский корпус не мог оказать серьезного сопротивления, и красные распространились на восток. Мелитополю грозила опасность.

В офицерском вагоне битком набито. Среди английских сумок и чемоданов немало мешков с фруктами и бочонков с маслом.

— Казенный груз? — с улыбкою спрашиваю одного офицера, «химического», так как погоны на его белой рубахе наведены химическим карандашом.

— Что ж поделаешь! Кормиться в тылу чем-нибудь надо, особенно семейным. Вы на фронте кормитесь у крестьян, а попробовали бы жить в Севастополе или в Евпатории, не говоря уже про Ялту. Цены безумные и скачут поминутно. Слышали, что творится в вашем донском офицерском резерве?

— А что?

— Не от добра же пошли люди на верную смерть с Назаровым. Он и сам предупреждал об опасности, и кругом везде говорили, что десант поведут на убой. И все-таки шли. Почему? Чем белый голод в Крыму, лучше красная пуля на Дону. В резерве самоубийства — чуть не каждую неделю. «Прощайте, друзья, — написал один перед смертью, — но ненадолго, потому что скоро все равно подохнете с голоду, если не последуете моему примеру».

— Ночью разъезды красных кружились возле Рыкова. Проедем ли благополучно эту станцию? — громко сообщает на ст. Сокологорное интендантский полковник, входя в вагон.

Настроение падает. Близость опасности связывает языки. Зато вовсю работают зубы, яростно уничтожая арбузы, сладкие, сочные.

— Трр... рр... рр... рота за мной, в атаку! Бей красную сволочь! — до костей пронизывает весь вагон чей-то болезненно-неистовый голос.

Затем треск разбитого стекла, возня, ругань.

— Нервнобольной корниловский офицер, — поясняет спекулянт в погонах, заглянув в соседнее отделение, — повлияло известие о близости красных. Сильно порезался. Сейчас в обмороке.

В Рыкове все благополучно.

В наш вагон залезает новый персонаж. Небольшой, но хорошо сложенный старик в чине капитана. Из-под форменной фуражки выбиваются пряди седых волос. Душно, жарко. Трудно понять, зачем напялил на себя новый пассажир форменный полицейский мундир, прицепив к нему вдобавок колодку со множеством знаков отличия, вплоть до медали в память трехсотлетия дома Романовых.

— Присаживайтесь хоть на мешок. В Севастополь?

— В Керчь.

— По полиции?

— Да. Был в Таврии приставом, теперь назначен полицеймейстером в Новороссийск.

— Как в Новороссийск? Разве его взяли?

— Не взяли, так пока еду — возьмут.

— Для вас специально? — ехидно спрашивает с верхней полки молодой поручик, свешивая к нам голову. — Вот и мой командир полка, запасного, тоже ждет не дождется, когда возьмут Ставрополь. «Хочу, говорит, служить там в комендантках, а нет, так и в губернаторах! Мы, говорит, тоже не святый боже. У меня, говорит, балы будут во какие, первый сорт. И оркестр первостепенный». Он у нас большой знаток музыки. Зашел раз в собрание на вечер и изумился. «Чего же это так глухо оркестр наяривает?» — «Резонанса в хате мало, господин полковник», — ответил адъютант... — «Резонанцу? Так зачем дело стало, Михайлыч... У нас такая ароматная хозяйственная сумма, а вы не купите. Беспременно купите. Не найдете здесь, командируйте человека в Севастополь за резонанцем... штоб не хуже других». Губернатор будущий!

Полицейский презрительно гримасничает.

— Уж не за резонанцем ли вы и командированы в Севастополь? — режет владелец бочонка с маслом.

— А вы разве и этим спекулируете?

Разгорается ожесточенный поединок, в котором оружием служит остроумие.

Где ни послушаешь, везде одно и то же: или беспросветная критика всех и вся или разговоры о ценах на сало, масло, овощи. О «Великой, Единой» и т. д. ни слова.

«У армии не было души, а фронт не был одушевлен идеей», — говорит Г. Н. Раковский в своей книге «Конец белых». И не ошибается.

Опасную зону миновали. Поезд медленно продвигается по Чонгарскому мосту, восточному горлышку крымской «бутылки».

Проверка документов. Разумеется, все едут с разрешения начальства и по неотложным служебным надобностям. Вот толстый чиновник в земгусарской форме везет «секретный пакет в штаб главнокомандующего», а на площадке нашего вагона его клетка с петухами не дает прохода пассажирам.

В Севастополе нагляднее всего сказывалась сущность белого стана и того социального строя, который защищала «русская» армия.

Даже в господствующем классе, офицерском, замечалось резкое экономическое неравенство. На фоне полуоголодного существования большинства оттенялась роскошная жизнь избранных.

Великое множество офицерства служило в гарнизонных частях на ролях простых солдат. Положение их было таково, что единственное удовольствие, которое они могли себе позволить, это дышать свежим воздухом. Примерно так же или чуть-чуть лучше жили те, кто

не занимался из трусости или честности казнокрадством и спекуляциями, довольствуясь жалованьем. Мой товарищ, военный прокурор севастопольского военно-морского суда, ген. И. С. Дамаскин, бегал по урокам, чтобы как-нибудь прокормить свою крошечную семью.

И в то же время рестораны кишмя кишили «пискулянтами» в погонах, разными завхозами, командирами, которые давно уже забыли делать различие между своими и казенными деньгами.

— В наше время без денег сидят только дураки, — случалось мне не раз слышать.

«Великая, Единая» и т. д. в Севастополе отошла еще на более отдаленный план, чем у героев близкого тыла.

— Даю фунты... беру лиры... продаю хлеб... нужен одеколон... Гони деньги на бар — вот мой товар.

Только вокруг этого сосредоточивалась жизнь одних.

«Где бы до воскресенья стрельнуть «хамсы», починить бы брюки», — размышляли в это время другие.

С Константинополем шла оживленная частная и государственная торговля. Туда отправляли хлеб, оттуда везли мануфактуру, колониальные товары, парфюмерию, всякие предметы роскоши. Создавались фиктивные командировки в Царьград со спекулятивными целями. Спекулировало столько должностных лиц, что, когда правительство издало закон о борьбе со спекуляцией, в шутку говорили, что министры хотят убить своих конкурентов. По приказу Врангеля ялтинский военно-полевой суд присудил двух спекулянтов-евреев к 20 годам каторжных работ. Через самое короткое время они находились на свободе. После этого больше уже никого не судили за спекуляцию.

Кто не спекулировал, начинал красть, если имел возможность. Иной ради покупки новых штанов, другие ради ужина с какой-нибудь эффектной «фунтоловкой». Так звали в Севастополе самых изящно одетых женщин, оценивавших свой поцелуй в фунт стерлингов. Более доступные носили прозвище «лирических» или «М-те Лирских»*, а самую уличную шантрапу титуловали «принцессами долларов».

В городе дело дошло до такой тесноты, что немало офицерства спали на бульварах. Некоторые военные судьи военно-морского суда ночевали в канцелярии своего учреждения. Я случайно заночевал у одного полковника, — оказалось, что громадная, прекрасная квартира его хозяев пуста. Ларчик открывался просто: этот полковник занимал видную должность в комендатуре и из любезности спасал квартиру от постоя. Эти любезности дорого обходились тем, кто даже в швейцарской не находил себе пристанища.

В тех редких случаях, когда нарушители закона попадали под суд, судьи ахали от изумления, когда читали послужные списки подсуду-

* Турецкая лира в царское время равнялась 10 рублям.

димых. В них перечислялись прошлые отличия и подвиги тех, кто в данное время занимал скамью подсудимых по обвинению в самых бессовестных подлогах и растратах. Перед судьями стояли герои мировой и Гражданской войны, рыцари долга и чести, и не поднималась рука подписывать приговор, — хотя бы и фиктивный, так как потом все равно всех миловали.

При создавшемся положении Врангель был бессилен помочь офицерству. Платить натурой правительство не могло, а деньги ничего не стоили. Жалованье увеличивалось в арифметической прогрессии, а цены в геометрической.

Голодная оппозиция разрасталась. Даже в военной среде, правда очень глуко, порою раздавался ропот и шли разговоры о желательности перемирия во избежание худшего исхода — голодной смерти. Врангель издал приказ, воспрещавший такие толки, грозя послушникам высылкой в Советскую Россию. Применение этого закона не замедлило произойти. Один отставной генерал и несколько гражданских лиц были отвезены, если не ошибаюсь, на Кинбурнскую косу в Черном море и оставлены там на произвол судьбы.

Нельзя сказать, чтобы выселенные слишком роптали. Старые донские казаки только потому и пошли с Назаровым на Дон, что хотели вырваться из Крыма. В мае, еще до наступления, очень часто офицеры дезертировали в Одессу на парусных судах. Однажды уехал туда мой старый товарищ еще по 130 пех. Херсонскому полку, где я служил до Академии, капитан Петров, либеральней человек и лишь случайно оказавшийся в Белой армии. Таких, как он, набралась в Евпатории целая группа. Я был посвящен в их предприятие. За последние крохи они наняли судно и уехали. Вскоре после этого я читал в крымских газетах, что «наш миноносец задержал около Ак-Мечети парусную лодку с группой офицеров, направлявшихся в Одессу». Было ли это то судно, на котором выехал мой товарищ, выяснить не удалось.

Даже среди офицерства находились такие, которые предпочитали Совдепию «Великой и Неделимой».

И неудивительно.

Голод не только побуждал людей красть казенное добро, но и выходить на открытый грабеж. Столица Врангеля стонала от разбоев. Во время моего пребывания какая-то банда вечером совершила несколько дерзких нападений на прохожих у самого входа на Исторический бульвар.

Иностранцы чувствовали себя завоевателями. 65 лет тому назад настоящая русская армия здесь мужественно отстаивала от них каждый клочок земли. Теперь русская армия в кавычках трогательно браталась с иноземцами. Я сам видел днем пьяных французских моряков, которые горланили песни на Нахимовском проспекте и задевали женщин. Полицейские немели при виде «союзников». Русские

офицеры старались не замечать развлечений этих представителей «благородной Франции».

Но какой ни царил в городе пьяный разгул, сколько ни устраивалось вечеров и гуляний, в Севастополе пахло мертвчиной. Политические деятели, не служившие у Врангеля, или уже перекочевали в Европу, или складывали чемоданчики. Шумели только могильщики белого стана — черносотенцы, распевая о будущем благоденствии России под скипетром Романовых. Кроме того, дюжина выживших из ума генералов и профессоров, ударившись в схоластику и мистицизм, гнусавили какую-ту белиберду в своем религиозно-философском обществе.

Черносотенными воплями и замогильным чернокнижием исчерпывалось идейное содержание общественно-политической жизни этой мертвенно-тоскливой эпохи.

О фронте в Севастополе вспоминали редко. На него смотрели как на скверного, беспокойного ребенка, которого кое-как удалось сослать в деревню к дальней тетушке. Никому не хотелось думать о том, что он опять вернется, будет близко.

За неделю моего пребывания в Севастополе никто и не пытался расспрашивать меня о том, как живут на фронте, каково настроение крестьян, хотят ли они Гражданской войны, что говорят пленные о Советской России и т. д. А я ведь вращался среди наиболее мыслящего, образованного офицерства.

Если когда и задавали мне вопрос, то разве такой:

— А что, ваши донцы не собираются перебежать к красным? — И, вспомнив, что я служу в Донском корпусе, не могли не добавить: — Всем бы вы хороши, да одно плохо: служите у казаков.

Сепаратизм давал себя знать и в эту эпоху.

Когда же я начинал рассказывать о том, как проходят или, вернее, вовсе не проходят наши мобилизации, как истощено население и т. д., меня перебивали:

— Ах, знаете, бросьте это... Противно обо всем этом говорить... Забыться бы и ничего этого не слышать, — говорили одни.

— Скорее бы конец всему... Надоела эта агония... — слышалось еще чаще.

На Кубани нас постигла неудача.

Общего восстания не произошло. Одни только потерявшие образ и подобие человеческое «камышатники» присоединились к отрядам ген. Бабиева, Казановича, Шифнер-Маркевича. Несерьезность предприятия бросалась в глаза всем, и это удерживало от присоединения к белым даже тех, кто искренно хотел их власти.

Еще более отталкивало поведение администрации и начальствующих лиц. Белые ничего не забыли и ничему не научились. В Таманской станице один администратор выпорол казака за то, что тот ему не поклонился.

Генералы, начальники колонн, соперничали друг с другом в стремительном движении на Екатеринодар, куда каждому хотелось прийти первым. О выполнении общего плана не думали и вели операции каждый на свой страх и риск. В результате красные едва не отрезали от берега весь десантный корпус. Началось такое же быстрое возвратное движение. Насилу удалось пробиться к побережью и под неприятельским обстрелом погрузиться на суда.

Эта двадцатидневная экспедиция весьма наглядно показала, что силы и моральный авторитет белого стана выдохлись и что предводителям его пора сматывать свои удочки.

О провале затеи официально объявили с запозданием. Прекращение операций на Кубани, как уверял Врангель, произошло в силу начавшегося наступления поляков, в связи с которым нам следует обратить свое внимание не на восток, на казачьи области, а на запад, на Украину.

С опустошенной душой уехал я из Севастополя. Там, вблизи фронта, в деревнях Северной Таврии мы жили идиллической жизнью, и постоянный грохот орудий менее нервировал, чем веселая музыка шикарных ресторанов, переполненных явными казнокрадами, спекулянтами и продажными женщинами. Интересы этого-то народа защищала «русская» армия!

— Странно, — размышлял я в поезде, глядя на двух своих соседок. — Вот я пробыл неделю в Севастополе и, живя на свое скромное жалованье, ни разу не мог пообедать как следует, не говоря уже о таких деликатесах, как сыр или колбаса. А вот эти двое, — видимо, офицерские жены, раз едут в нашем вагоне, — битых полчаса услаждают свою утробу и рокфором, и краковской, и икрой. А ведь моя должность не так уж маленькая.

Разговорились.

— Сестры Подольские, — отрекомендовались мне женщины, хотя мало походили друг на друга. Одна брюнетка с продолговатым, чувственным лицом, с глазами коканистки. Другая анемичная блондинка с головкой величиной в кулак.

— К мужьям, наверно, на фронт?

— Нет. Мы еще девицы.

— Не сестры милосердия?

— Тоже нет.

Наконец шепотом сообщили:

— В разведывательном отделении штаба главнокомандующего служим. Едем в Мелитополь. Там переоденемся в крестьянками и отправимся в расположение красных. — В доказательство показали удостоверения. Все честь честью. Знакомые подписи. Сомнений нет — агенты штаба.

Через неделю я встретил их в мелитопольском саду крикливо разодетых и изрядно наштукуатуренных.

— А как же разведка? Скоро в крестьянское платье?

— Ха-ха-ха... Нам приятнее тут производить разведку... Заходите... Наш адрес: Песчанка, дом Кащенко... Будем ждать, особенно если заглянете со спиртом.

И, обдав меня многообещающим взглядом, поспешили вернуться к двум солидным мужчинам армянского типа, которые, сидя на скамейке, неприязненно поглядывали на меня, очевидно приняв за конкурента.

<...>

С неба доносятся певучие звуки. По голубой выси плывет гудящая паутинка. Постепенно она превращается в черную птицу, а из птицы скоро вырастает в мощный самолет.

На него устремляются взоры.

Очнувшись над группой, аэроплан начал снижаться, и тогда на его хвосте ярко обрисовалась красная звезда.

Для пленных это свой, для меня — неприятельский. Но у них глубокое равнодушие на лицах, у меня любопытство.

Паря в воздухе, как орел, высекающий зайца, аэроплан покружился немного над рассеянной толпой и вдруг обдал ее целым дождем, не бомб, а листовок. Затем быстро заработал мотор, стальная птица взвилась к небу и понеслась на восток, по одному направлению с казачьими мечтами.

Одну из листовок приносят мне.

— Что-то пишут нам Ленин с Троцким? — смеется Иван. Взглянув на подпись, я увидел: «Реввоенсовет XIII армии: Эйдеман. Затонский».

Прокламация гласила:

«Ко всем честным офицерам и солдатам Крымской армии. До последнего времени на всем пространстве необъятной России шла Гражданская война, но она близится к концу. Все враги рабоче-крестьянской власти, совершив положенный судьбою скорбный путь, отправились путешествовать: кто в Англию на дачу, как Деникин, кто подальше, как Каледин и Колчак. Осталась кучка вас, сподвижников барона Врангеля, помогающих польским панам, которые силятся поработить Юго-Запад России. И в этот грозный час вы, жалкие остатки полчищ Деникина, пользуясь отвлечением наших сил, пытаетесь ударить в спину Красной армии так же, как это делает Махно и прочие бандиты, которым нужна лишь разруха и развал для грабежа. На что надеетесь вы в результате ваших "побед"? Вы можете еще захватить десяток деревень, еще пару уездных городишек до подхода наших резервов. Вы можете своим дебошем еще на пару недель или месяцев задержать разгром польских легионов. Вашими руками или при вашем содействии будут обращены в развалины еще несколько городов. А дальше что? Неужели Крымской армии под силу спрятаться и с Советской властью, и с хищниками панами, и с аппетитами

щедрых французских банкиров, и развалом хозяйственной жизни, какой несет дальнейшее продолжение безнадежной повстанческой борьбы против единственной в России государственной Советской власти? Поймите, что ваши победы над нашими заставами превратятся в разгром через неделю, максимум через месяц, но эта борьба будет стоить лишних жертв и страшного разорения. Поймите, что, кроме Советской власти, нет другой, которая могла бы охранить нашу страну от грабежа чужеземных хищников, которая смогла бы вывести нас из пропасти нищеты и разорения. Прекратите борьбу с исторической неизбежностью».

Краска стыда заливает мое лицо.

Что ни слово, то горькая правда, которая каленым железом жжет сердце. Наши войска, действительно, сражались только с заставами. Разве можно назвать армией толпы этих необученных «Ваньков», которых тысячами забирали в плен и которые завтра тысячами вырастали как грибы на прежнем месте? Железные легионы рабоче-крестьянской армии, спаянные сознательной дисциплиной, в это время громили поляков, наш же напор сдерживали многолюдные, но слабые духом заставы.

<...>

XXI Никому не нужные

Пораженная в самое сердце, армия Врангеля все-таки сумела прорваться за Перекоп и Чонгарский мост, потеряв в Северной Таврии до 60% от своего состава. Мобилизованные красноармейцы по большей части разбежались из своих полков в период отступления. Новые формирования, вроде 6-й дивизии, рассеялись. Да и старые, коренные кадры сильно поредели. От корпуса Слащёва остались одни воспоминания.

Немало попало в плен и тыловых частей. В Ново-Алексеевке красная конница захватила поезд с разными учреждениями. В их числе был и корпусной суд нашего корпуса. Часть моих коллег, во главе с прокурором ген. Поповым, успела убежать в Сальково; председатель же суда ген.-лейт. Ф. В. Петров и военный судья полк Замчалов погибли.

Пир кончился бедою. Крым снова превратился в осажденную крепость. Но теперь против него стояли уже не красные заслоны, а могучая рабоче-крестьянская Красная армия, закалившаяся в борьбе с Польшей. Весною красные проявляли слабую активность. Теперь Троцкий предписал взять Перекоп к трехлетнему юбилею существования Советской власти. В революционных армиях — это знали грамотные люди и в белом стане — приказами шутить не любят.

«Я осмотрел укрепления Перекопа и нашел, что для защиты Крыма сделано все, что только в силах человеческих, — писал Врангель

осенью в одном из своих приказов, объявляя благодарность руководителю фортификационных работ ген. Фоку».

«Это почти второй Верден, — писали газеты. — Непроходимая сеть проволочных заграждений... Глубокие окопы... Бетонированные блиндажи... Тяжелая артиллерия... Подъездные пути».

Грозные укрепления оказались только на бумаге. Инженеры обманывали Врангеля. Врангель обманывал себя и свою армию. Когда «цветные» части, отступая к югу, увидели этот второй Верден, они ахнули от изумления. Преступная ложь выявилась вовсю.

Линия жалких окопов, с обычными проволочными заграждениями впереди, но с незначительным обстрелом, никем не охранялась. Окрестные крестьяне сильно повредили эти «укрепления», раскрашивая деревянные части, как то: колья, обшивку и т. д. Тяжелая артиллерия оказалась налицо, но не могла стрелять, так как не имела пристрельных данных, не существовало наблюдательных пунктов и не была налажена связь между батареями.

Стояли сильные холода, но ни бараков, ни землянок не удосужились соорудить подле позиции. Войска замерзали, проклиная на чем свет стоит своих интендантов, снабжавших иностранным обмундированием одну только Красную армию.

Время едва еще перевалило за половину октября. А что же будет зимою?

Пока две рати стояли у Перекопа друг против друга, Врангель предусмотрительно начал готовить пароходы. Так как в Крыму не хватало каменного угля, крестьяне по распоряжению властей стали свозить в портовые города большие запасы дров из лесных дач. Вождь не хотел повторить новороссийской ошибки Деникина и рассчитывал в случае неустойки на фронте увезти всю свою армию в целости за границу.

Начались бои за обладание Перекопом.

Доступ в Крым через малодоступное чонгарское дефилю защищали донцы. Но здесь красные сильно не напирали.

Мы, тыловая армия, в это время странствовали по Крыму. Донские учреждения направились от Арабата по предгорьям Яйлы в Сарабуз, железнодорожную станцию близ Симферополя, от которой идет ветка на Евпаторию. В штабе все еще находились чудаки, которые старались уверить себя, что в районе Сарабузу нам предстоит зимовка.

Блуждая по глухим деревням, то по немецким, то по татарским, мы не имели никаких сведений о том, что делается на фронте. Все внимание нашей братии сосредоточивалось на том, чтобы обеспечить себе на ночь ночлег под крышей, на день — хоть какую-нибудь еду. Татары и на самом деле были бедны и при всем своем радушии не могли накормить как следует голодную саранчу. Зажиточные, но кряжистые немцы, ничуть не входя в бедственное положение «спасателей отечества», категорически отказывались менять съест-

ные припасы на ничего не стоящую «хамсу». Наиболее богатые проявляли наибольшую жадность.

В экономии известного всему Крыму богача Шлеे наши штабные генералы не могли разжиться никакой живностью, невзирая на то, что она переполняла хлевы и птичники. Через три дня этот кашей бессмертный сам бежал с семьею из своей экономии вслед за армией, бросив на произвол судьбы все свои запасы. В 1922 году я встречал его в г. Варне (в Болгарии). Он с презрением поглядывал на русскую эмигрантскую бедноту и мечтал о возвращении своих имений с помощью армии Врангеля.

В одном районе мы натолкнулись на «базу» кавалерии ген. Барбовича, т. е. тыловой район регулярной кавалерии Крымской армии. Тут было настоящее царство пионов-корнетов и изящных жоржиков. Новенькие с царскими вензелями погоны. Пшютовски утонченные манеры в отношении друг к другу и безбожное «цуканье» одурелых, правда немногочисленных, солдат. Трудно было определить, готовили ли здесь бойцов на фронт или дрессировали двуногих и четвероногих животных для цирка.

29 октября штабной обоз добрался до Сарабуза и нашел здесь столпотворение вавилонское. Иначе и не могло быть. Тут только одних комендантov насчитывалось до 12: комендант района, комендант селения, комендант станции, комендант этапа, комендант штаба корпуса и т. д. Вся их деятельность сводилась по преимуществу к добыванию подвод, так как предстоял последний и решительный «драп».

«Неприступные» перекопские позиции оказались очень доступными противнику. Красным немало помог и мороз. Люди севера точно принесли его с собою в Крым. Сиваш несколько подмерз. Неприятель, кое-как перебравшись через него в одном месте, утвердился на маленьком выступе перешейка, на так называемом Литовском полуострове, в тылу перекопской позиции. Красная армия на этот раз ударила не в сердце нашего расположения, а в спину.

Литовский полуостров и прилегающее к нему побережье считались менее всего подверженными опасности. Здесь несли дозорную службу кубанцы Фостикова, только что прибывшие в Крым с Черноморья, куда этих повстанцев загнали красные кавказские войска.

Измученные, плохо одетые, притом привыкшие только к налетам, они оказались негодным материалом для позиционной войны и в буквальном смысле проспали переправу красных из Таврии на Литовский выступ.

Дроздовская дивизия, на которую обрушились красные из этого пункта, едва не погибла целиком. Все «цветные» войска стали спешно отступать к Юшуню — последней позиции на перешейке.

С стороны Чонгара двинули было на помощь донцов. Помощь запоздала. Утром 29 октября неприятель прорвал и юшуньскую позицию. Для Красной армии открылась широкая дорога в Крым.

Неприступная твердыня пала. Крымская авантюра кончилась.

— Спасайся, кто может! — пронесся роковой клич.

Теперь уже смешалось все вместе: обозы, строевые части, гражданские беженцы. Все хлынули к портам.

Донскому корпусу для погрузки предназначалась Керчь. Нам, которые только что промаршировали поперек всего Крыма с востока на запад, снова предстоял такой же путь с запада на восток и даже более дальний, так как Керчь находится в самом отдаленном, юго-восточном углу Крыма.

30 октября все ринулось из Сарабуза страшным потоком. Разумеется, под аккомпанемент пушечной музыки.

Мысли притупились. Еле-еле запечатлеваются картины скорбного пути. Погром в Карасубазаре. Все как в тумане. Ясно одно: мы мертвцы, Гражданская война кончена.

«Как бы не пали лошади и как бы застать в Керчи хоть один пароход!» — мелькает в голове.

— Спешите в Керчь, — сказал утром 30 октября ген. Абрамов, проезжая из Симферополя в Джанкой, чтобы оттуда направиться в Керчь поездом. — Если доберетесь в три дня — ваше счастье, иначе сядете на мель.

Всякий из нас понимал, что значило «сесть на мель».

— Вывел с честью из положения! — иронизировали вслух по адресу Врангеля.

Донской виршеплет Борис Жирков так изобразил начало и конец крымской эпопеи:

Вначале шли дела отлично,
Брыкался Врангель энергично
И, развивая в красных злобу,
Разбил в боях упорных Жлобу,
На север Таврия залез,
Но тут-то и попутал бес —
И вместо славы, вместо блеска
Вдруг получилась юмореска.
И в опасности панической
Из губернии Таврической
Мы, намазав салом пятки,
Удирали без оглядки.
Без особенной амбиции
Перекопские позиции
Сдавши красному врагу,
Крым бросали на бегу.
Провалился Кривошеин:
План его, как дым, рассеян.
Не помог земельный акт:
Крым проспали... грустный факт!
Унесли лишь еле ноги
В хаотической тревоге.

Стыд и совесть заглуши,
Грабили всякий, в порт спеша.

Я со своими двумя подводами отбился от «дежурства» на второй же день пути. Ген. Таарин так торопился, что прибыл в Керчь на сутки раньше меня. В Старом Крыму мои лошади выбились из сил. Пришлось добывать новых.

— Заморени са кончета... Сега току че от Феодосия са заврыштали (лошади заморены... Сейчас только что вернулись из Феодосии), — взмолились подводчики-болгары, которых мои писаря словили среди деревни.

— Ладно! До утра дам отдых, — согласился я, и сам всю ночь сторожил их во дворе. Мои люди отсыпались в хате.

Чуть рассвет — снова путь в гуще каких-то неведомых обозов. Снова мелькают горки, деревни и всюду телеграфные столбы.

— А ведь эти не спешат! — кричит с задней подводы Маркуша.

— Кто? Где?

— Вон справа, возле дороги.

Взор падает на группу каких-то милых людей, свернувших с пути. Они расставили столы, стулья, пьют чай из самовара. Разнокалиберное общество. Женщины. Мужчины. Точно пикник. Едут с прохладцей.

— Что за учреждение?

— Комиссия...

— Военно-судебная?

— Нет! По реализации военной добычи.

— Видим, видим!

Подводы нагружены всяким добром сверху донизу.

— А это тоже военная добыча? — кричит Маркуша, тъгча в подводу с мягкой мебелью. — У какого неприятеля отбили? У васильевских молокан или мелитопольских евреев?

В Феодосии уже господствовала местная красная власть.

В этом порту грузились кубанцы Фостикова, успевшие побывать в Крыму не более двух недель. Когда я проезжал через порт, большие толпы злополучных казаков бродили по берегу, усеянному осколками взорванных снарядов, и со злобой поглядывали на морскую синеву, среди которой чернело несколько пароходов.

— Почему вы не погрузились?

— Та вин, бисов сын, Хвостик, не велел. Нема, бачит, места. Пулеметы выставил.

— Что же вы думаете делать?

— Та в горы... зеленые примут.

Многие из этих несчастных, брошенных своими, брели по берегу, направляясь пешком в Керчь. Один подарил мне хотя и не ценную, но с красивой резьбой на меди кавказскую шашку.

— На якой вона мне бис... Я воевать больше не пийду. Навоевался.

В Керчи этот подарок у меня украли свои же штабные казаки.

Проехав верст 30 за Феодосию, мои подводы свернули с тракта на проселочную дорогу и поехали совсем пустынным берегом. Возницы-болгары так убедительно доказывали свое знакомство со здешними местами, что пришлось согласиться на их предложение пробираться в Керчь кратчайшим путем. Ночью часа четыре отдохнули в татарской лачуге. Хозяин угостил нас сыром и призывал на наши головы благословение Аллаха, когда мы утром, еще в абсолютной темноте, направились дальше, не причинив ему никакой обиды.

«Недобрый знак!» — подумал я, поглядев в сторону гор и заметив там несколько беззвучных разрывов шрапнелей.

Сердце екнуло. Неужели не удастся пробраться в Керчь?

Чтобы не навести паники на своих подчиненных, я промолчал о своих зловещих наблюдениях.

Лошади насилиу волочат ноги. Мы перерезаем напрямик какой-то кряж.

В большой деревне Марфовке, населенной болгарами-колонистами, веселье: справляют свадьбу. Звенят бубенцы, разливается песня, даже палят вверх для удовольствия и шума. Этим людям труда, сътым и одетым, решительно нет никакого дела до того, что кучка бездомных и голодных вояк в смертной тоске удирает через их селение от страшного врага. Их мало трогает то, что творится у Ак-Моная и в Владиславовне, где я заметил разрывы снарядов, и уж наверно они вовсе не думают о той трагедии, которая разыгрывается сегодня или завтра в керченском порту. А наивные из нашего стана еще мнили, что мы кого-то от кого-то спасаем, творим великий жертвенный подвиг...

— Какая-то конница... Неужто красные? Вон внизу, по большому трахту, — кричит зоркий Маркуша с задней подводы.

Спускаемся мелкой рысцой по прямоезжей дороге на широкий почтовый путь. День яркий, даже теплый. У колодца нас настигает конница. Но это свои: конвой командира Донского корпуса, во главе с начальником оперативной части полк. ген. штаба Ситниковым.

— Как? Вы еще не в Керчи?

— Отстал от «дежурства» из-за лошадей.

— Гоните! Можете ведь опоздать... Сзади уже никого нет. Мы последние.

Все, что уцелело от Крымской армии, так стремительно неслось в порты, что красные много отстали. Подъехав к Керчи, мы увидели два конных донских полка, которые были выставлены для ночной охраны. Погрузка предполагалась только завтра, так как неприятель не насыдал.

В запруженном подводами городе я насилиу добрался до ген. Абрамова, остановившегося со штабом 2-й армии в лучшей гостинице. Но прежде чем я попал к нему, на меня набросился очень изысканно одетый генерал Генерального штаба:

— Где у вас погоны на пальто? Почему их нет? Безобразие... Что вы, большевик, что ли? Экая распущенность!

— Они были начерчены химическим карандашом, но стерлись в дороге. Ведь три недели беспрерывного бегства...

Генерал долго не мог успокоиться, и, если бы командующий армией не подоспел мне на помощь, то готов был отправить меня под арест.

Белый стан погибал, но, и погибая, не мог думать ни о чем другом, как только о погонах.

От ген. Абрамова я узнал только то, что «дежурство» уже погрузилось, что завтра будут грузиться строевые части и что на пароходах будет поднят французский флаг. И больше ничего!

Оперативная часть нашего штаба заняла гарнизонное собрание. Котик Д-ий, хозяин собрания, готовил ужин. Он тоже остался верен себе до конца: его подводы ломились от баранов и всякой живности, которую его сподвижники хватали, где могли, не боясь теперь никаких военно-судебных комиссий.

Погоны и грабеж. Грабеж и погоны... Кажется, в этих двух словах заключена вся сущность белого стана.

Ночь я проспал в битком набитой зале гарнизонного собрания, уместив ноги на подоконник, а туловище с головой на ломберный стол.

Наступило утро, серенькое, неприветливое. Солнце пряталось где-то в толще тяжелых облаков.

Начался парад, последний парад на родной территории. К гарнизонному собранию подошел конный полк Чапчикова. Едва на крыльце показалось корпусное начальство, калединовский оркестр грязнул марш.

И наконец, шествие на пристань. Музыка, наигрывая «Мичмана Джонсона», движется впереди полка, а сзади его — в первую голову несколько бочек с вином.

Погрузка началась скандалом.

— Вон тыловую сволочь! — орал командир платовского полка ген. Рубашкин, назначенный комендантом парохода «Екатеринодар». Когда же он узнал, что на пароход раньше его полка погрузилась ненавистная ему военно-судебная комиссия, пришел в неистовство:

— В нагайки их... Ставь пулемет!

На пристань полетели с бортов вещи злосчастных служителей Фемиды. Выбравшись с парохода, жрецы врангелевского правосудия не знали, как благодарить Бога за то, что хоть остались целыми.

Не лучше обстояло дело и в третьей Донской дивизии, у ген. Гусельцикова. Когда обнаружилось, что казакам не хватает места на пароходе, он приказал выгнать всех бывших красноармейцев.

— Долой с парохода Ваньков. На кой нам черт сдались эти гниды!

— Ваше превосходительство! Вы же нас в строй поставили... Мы честно служили... Красные не простят нам измены...

— Не разговаривать!.. И подохнете, не жалко!..

— Воевали, так мы нужны были, а спасаете шкуры, так нас побоку. Эх, вы!.. Раньше нас сами подохнете.

Каждый своевольничал, как ему нравилось. О планомерной погрузке не могло быть и речи.

Время шло, а от беспорядка погрузка замедлялась. От замедления же возникала паника, так как красные в любую минуту могли подойти к городу.

Я со своими людьми покорно ждал на пристани, думая, что вот-вот какой-нибудь распорядитель укажет, на какой пароход мне грузиться. Но проходили час, другой, третий. Один из моих писарей успел за это время сбегать в винный погреб, который грабили, и принес несколько бутылок «Массандры». Маркуша купил у бабы два хлеба, но не на деньги, а в обмен на несколько аршин ситца, утащенного в Геническе.

— А вы еще брали тогда меня, что я украл! Сидели бы теперь голодом без ситца, — укоризненно заметил он мне.

Старик, по доброте своего сердца, не забыл и подводчиков, отрезав им тоже аршина по три. Болгары раскрыли глаза от изумления и рассыпались в благодарности.

— Если еще раз будете в Крыму, непременно гостите к нам, — лепетали они.

Проходит еще час. На пристани дым коромыслом. Давка увеличивается. Между людскими толпами уныло бродят всеми покинутые лошади, чувствуя близкую гибель от голода и жажды.

— В баржу, братва! Ее повезут к пароходу, который стоит на рейде. Там пересадят, — проносится среди окружающей нас толпы. Движение последней увлекает и нас.

В баржу, так в баржу, не все ли равно?

В барже — караша. Дно ее покрыто слоем мелкого угля, который местами плавает, так как из пазов выступает вода. Чем больше набивается народу, тем больше покрывает она дно.

Вокруг меня — незнакомые лица. Только один свой — инспектор артиллерии нашего корпуса почтенный ген. И. А. Поляков. Изнемогая от усталости, он расстилает бурку на угольный бугор и садится, опустив ноги в воду. Я держусь за его плечи.

Наш Ноев ковчег, набитый только одними нечистыми (такими нас сделало бегство), начинает двигаться. Со дна не видно, кто буксирует нас. Мы видим небо и больше ничего.

А «протекция» баржи все больше и больше дает себя знать.

Скоро можно стоять только на больших кучах угля. Низины превращаются в озера. Казачня, спасаясь от потопа, лезет на борты.

— Когда же на пароход? Тут утонуть можно.

Неслыханная подлость. Наблюдатели сообщают с бортов, что нас становят в хвосте целой цепи таких же барж, из которых первая держится за какой-то пароход.

Недолгий ноябрьский день кончается. Не кончаются только наши мучения. Бурка ген. Полякова¹⁶ плавает. Ноги подкашиваются, но сесть нельзя.

Без конца длится эта мучительная ночь на воде — и в воде. За деревянной стенкой слышны легкие всплески волн. Мы еще, видно, не выбрались из Керченского пролива.

Чуть брезжит рассвет.

С бортов несутся нечеловеческие вопли.

— Оторвались! Ночью канат развязался...

— Ай... ай... пропали... мать честная!

Положение безвыходное. Легкий утренник гоняет нас по поверхности пролива. Кто схватится на пароходе об участии самой дальней баржи — восьмой по счету? До того ли? Никому не придет в голову в хаосе этого великого переселения народов разыскивать среди моря двести человек, которых унесло волнами.

— Станичники! — исступленно кричит на борту рабой, вихрастый казак. — Да ведь это Таманский берег... Тут большевики... Уж деревья на берегу видать. Ведь смерть приходит!

Сначала все замирает. Последние слова звероподобного оратора ножом режут сердце. А утренник делает свое дело. Баржа, незаметно ковыляясь, все ближе и ближе подбирается к львиной пасти.

Потом нечеловеческий вой оглашает и баржу и тот кусок молочно-туманного неба, который повис над нею. Адскую мелодию дополняет дребезжанье колокола, в который неистово дубасят на носу.

Объятые смертным ужасом, двести человек голосят себе отходную. Над нами носится дыхание смерти. Черно-угольная смерть — в грязном озере между бортами, голубая смерть — в грациозных улыбках морской пучины, красная смерть — там на берегу, где подкарауливают нас те самые, от кого мы бежали с берегов Крыма.

И вдруг — якорь спасения!

С дали, точно с неба, несется глухой голос:

— Слышим, слышим... сейчас пошлем катер. Это говорят в рупор с какого-то судна.

Четыре мучительных часа проходит, пока неведомый спаситель от слов переходит к делу. Везут...

Чувствуется и в нашем угольном озере, что снаружи дует холодный ветер. Сильная качка за неделю моего пребывания — значит, мы уже выбрались из пролива на простор Черного моря.

Не верится, что можем пересесть на пароход.

Из ямы виден нос громадного океанского чудовища. На холодном солнышке, на минуту вынырнувшем из-за тяжелых туч, ярко переливаются золотистые буквы. Их всего пять. «Мечта». Мечта наяву. Так оригинально зовется наша спасительница.

С парохода спускают веревочную лестницу.

— Берите только то, что можно прицепить к плечам, — командауют сверху.

Люди поочередно карабкаются вверх. Доходит очередь и до меня. Лестница от качки баржи колыхается. Вещевая сумка отягощает спину. Но вот борт парохода. Чьи-то руки подхватывают за плечи. Заветный Рубикон переступлен. Под ногами палуба, по сторонам живые стены. Маркушу, моих писарей человеческие волны увлекают в одну сторону, меня в другую. В одном месте удается притиснуться к борту и бросить прощальный взгляд на баржу, на море, на родину.

Баржа уже предоставлена произволу волн. На дне ее плавают мешки и другое имущество, которое не удалось втащить на пароход. Среди угольного озера на кочке стоял баран и жалобно поглядывал наверх, словно отыскивая того, кто похитил его из стада и обрек на неизбежную гибель от голода и жажды в злополучной барже. Целые сутки мы плыли с ним вместе, но только теперь я увидел впервые этого крымского пленика, которому, однако, не удалось уплыть в эмиграцию.

По инерции, следуя за другими, я спускаюсь на самое дно кормового трюма. Здесь сплошная клоака. Люди буквально ходят по людям, навалены в кучи, как товар, копошатся, как черви на трупе. Неслыханный смрад. Картинка, достойная Дантова ада.

— Вы мне на ногу наступили.

— Только-то? Я думал — на голову.

— Эй, эвакуируйся отсюда! Тут моя позиция!

— Твоей нет. Тут все — твое, мое, богово.

— Ай, ай! Да не бросайтесь сверху, чертиолосатые!

Ваша корзинка упала и мне нос в кровь разбила.

— Экий неженка! Тоже — барон выискался! Нечего задаваться.

— Вы нам барышню сверху бросьте. Ее примем, не заругаемся.

— Берите, пожалуйста, это барахло! Тут у Наташки нет заведующего, в Крыму остался.

Трудно примкнуться куда-нибудь. Даже постоять не позволяют, отовсюду гонят. Занято.

В одной сторонке на мешках с мукою засела дружная компания человек в 30. Узнаю донцов.

— Какая часть?

— Корпусной продовольственный магазин.

— Благодетели! Я такой-то. Можно прижаться?

— Жмитесь. Вы какой станицы?

Этот вопрос — неизбежный у донцов, когда они знакомятся.

— Вы где грузились? — продолжаю интервью.

— В Керчи.

— Какие здесь погружены части? Наши?

— Наших мало, разве отсталые или отбившиеся. Главным же образом — керченские учреждения: местное интенданство, пограничная стража, комендатура и всякий тыловой сброд.

— А куда везут? У вас на пароходе есть радио. Нет ли известий? Мы сутки просидели в барже, ничего не знаем.

— Пока никуда не везут. Вся армия погрузилась на суда, но стоит у берегов Крыма. Наша «Мечта» подле Феодосии. Врангель издал приказ, в котором сообщает, что ни одна страна не соглашается принять нас. Но он ведет переговоры.

Вот она — голая правда. Ничем не прикрашенная.

Мы никому не нужны. Ни русскому народу, — в этом убедились мы сами в Северной Таврии, ни Европе, — об этом поведал теперь сам вождь. Первому мы приносili только вред, второй были бесполезны, как актеры, сыгравшие свою роль.

Скорбен же будет наш изгнанический путь!

<...>

Мечта славянофилов исполнилась. Русская армия, — русская в кавычках, но истинная сторонница тех национальных начал, которые провозвещали они, — наконец прибыла в Византию, родину своей культуры. «Растленный Запад», в лице французских солдат и офицеров, с изумлением наблюдал исконные нравы народа-богоносца.

Немало скандалов возникало и в женском бараке. Благодаря помощи американского Красного Креста женщины жили сравнительно сносно. Как и в штаб-офицерском бараке, у них имелись койки, матрацы, одеяла. Им выдавали какао, консервированное молоко и т. д. Этими дарами Америки они подкармливали своих настоящих и походных мужей.

Бездельная жизнь на всем готовом окончательно обленила даже тех из них, которые дома привыкли к труду. Дело дошло до того, что никто из женщин не хотел выметать сор из своего барака. Постепенно у «барынь» образовались такие авгиевы конюшни, что грозили заразой всему лагерю. Русский комендант назначил старостихой женского барака одну вдову казачьего генерала, неотесанную «станёшницу»*, думая, что она сумеет заставить «барынь» убирать из-под себя навоз. «Барыни» забунтовали.

— Ну, вот еще, я буду подметать у койки какой-нибудь поручицы! — язвительно заявляет одна молодая особа, считавшая себя супругой полковника.

С соседкой-поручицей у нее давнишние нелады.

— Подумаешь, фря какая! Знаем вас... Я в законе живу, а ты «походная»... Много таких было у твоего полковника.

Поручица в ту же ночь горько поплатилась за эту дерзость.

— Староста! Староста!

— Что, в чем дело?

* *Станёшница* — жительница станицы. На казачьем жаргоне это насмешливое выражение обозначает глубокую провинциалку, деревенщину.

— Прекратите безобразие: тут мужчины.

В женском царстве тревога. Как ни холодно, но многие поднимаются с коек. Одинокая лампочка тускло освещает барак. Спросонок никто ничего не видит.

— Где, где мужчины?

— Вот у этой, госпожи поручицы, под одеялом.

Подозрительную койку окружает толпа самых отъявленных фурий, на которых неспособен позариться ни один мужчина.

— Вот вам крест святой, нету. Это она по злобе, что я ее походной величаю. Не верьте ей! — чуть не плача умоляет раскрасневшаяся поручица.

— Под одеялом у ней... Виши, как пятится... В ногах ищите... Видите, какая там куча.

Злополучный поручик извлечен на свет божий. Он готов броситься в Босфор, и физиономии буденновцев в этот миг были бы ему более приятны, чем лица представительниц прекрасного пола.

После этого в женском бараке поднимается такой шум и вой, точно и на самом деле на белогвардейский лагерь напал Будённый.

Под знаменами Врангеля гнило все, и гнило заживо... А вождь все еще называл себя и своих верноподданных солью земли Русской. Он все еще не изверился в свою счастливую звезду, уповая на русское «авось», «небось» да «как-нибудь».

— На кривую плохо надеяться... Не вывезет. Не удержались на голове, где же удержаться на хвосте, — говорили в Серкеджи, иронизируя над его бряцанием ржавым оружием.

В феврале он объехал лагеря в Галлиполи и на о. Лемносе, или, по эмигрантской терминологии, в «Кутепии» и на «Ломоносе». У него не было желания смотреть в корень вещей, узнать подлинное настроение низов и ознакомиться с их нуждой и горем. Этот честолюбец довольствовался внешней стороной, которую показывали ему его раболепные генералы. Эти последние, субсидируемые им, готовились встречать его, как коронованную особу. В Галлиполи куча денег ушла на покупку разной миштуры вроде материи национальных русских цветов. Румянами и пудрой хотели прикрыть гнойные лагерные язвы. Единоверцы-греки не пропустили случая поднять цены на ходкий товар.

— Союзники нас продали, но они скоро раскаются в этом. Не за горами тот час, когда опять потребуемся мы. Орлы! Терпеливо переносите все невзгоды. Вы еще взмахнете своими могучими крыльями, и славен будет ваш новый полет, — истерично вопил вождь на параде.

А после парада толпы лагерных сидельцев, скорее похожих на мокрых куриц, нежели на орлов, разойдясь по своим палаткам и подземным норам, с отвращением глотали осточертевшие консервы под звуки музыки, доносившейся из богатой квартиры

«Инжир-Паши», где происходила далеко не скучная трапеза в честь «обижаемого».

— Галлиполи — монастырь с двумя уставами, военным и монастырским. И сухоедение здесь налицо, — писал в «Общем деле» Бурцева (1921. № 286) некий И. Сургучев, возвеличивая «Кутепию». — Церкви обслуживаются с необычайной любовью и тщательностью; службы часто проводятся по монастырскому чину; известная артистка Плевицкая выступает в качестве пономаря.

Автор этой статьи упустил из виду следующее. Оба этих суровых устава выполнялись только низшей братией; высшая не знала никаких уставов, ни сухоедения. Артистка же Плевицкая менее всего вела монашеский образ жизни, выйдя замуж за начальника корниловской дивизии, молодого генерала Скоблина.

На Лемносе Врангель своим появлением окончательно деморализировал кубанцев. У последних, как всегда, происходили ссоры и плелись интриги. Легкомысленный, грубый генерал Фостиков не ладил с политическими деятелями, членами рады. Последние пожаловались Врангелю на его самоуправство, но невпопад. Напившись, вопреки обыкновению, пьяным, вождь выругал злосчастных кубанских политиков и даже пригрозил их ликвидировать, как некогда Калабухова. Затем он прошел в арестное помещение, где Фостиков гноил тех, которые откликнулись на предложение французов отправиться в Россию.

— Большевистская сволочь! Как только я займу Кубань, вас перевешаю в первую очередь, — исступленно кричал забывшийся аристократ, не уступая на этот раз в грубости любому приставу.

Первое предложение выехать на родину французы сделали в январе, вывесив кое-где соответствующие объявления. Военное начальство категорически отказалось оповещать об этом войска. Более того, агенты начальства по ночам срывали такие объявления даже возле самых французских комендатур. Но среди перешедших на гражданское положение солдат и офицеров, живших при военных лагерях, в специальных беженских лагерях (Сан-Степано, Халки, Селимье, Тузла и др.) и на воле, нашлось немало таких, которые решались покинуть неприветливую чужбину. Гуляющих людей, которые записывались на родину в Константинополе, французы направляли в Серкеджи. Здесь, в ожидании парохода, они составили особую группу, «русскую», под главенством старого полковника, жили в отдельном бараке и держались в самом черном теле. Ротмистр Александровский титуловал их большевиками и каждый день назначал их на уборку лагеря. Пищу этим парням раздавали в последнюю очередь.

— Вы не боитесь Совдепии? — спрашивали старика.

— А что с меня взять? Я до Гражданской войны много лет был в отставке. Белые заставили меня служить. Здоров, говорят, есть сила. Я все время заведовал продовольственным магазином и толь-

ко потому выехал сюда, что не привык самовольно бросать свою часть и вверенное по службе казенное имущество. Теперь у меня на руках бумажка, что я уволен в первобытное состояние, никому ничем не обязан здесь. А там у меня старуха. Будто что мне сделают, старому хрычу.

Этот «большевик» организовал церковный хор, читал Апостола за обедницей и монархию считал богоустановленной властью.

За несколько дней до отправки парохода из Франции привезли и водворили в нашем лагере человек 200 бывших солдат того корпуса, который в мировую войну сражался на фронте союзников. Теперь они попадали домой. Французы считали их настоящими большевиками, отвели им для ночлега пристройку к казарме Лафайета, не допускали общения с нами и даже выводили их на прогулку не иначе как загнав нас в бараки.

Накануне отправки репатриантов в Серкеджи прибыли и те, кто записался в чаталджинских лагерях, по преимуществу «отцы» и «дидки», перешедшие на беженское положение. Этот хлам не мог служить пушечным мясом, и его не задерживали.

— Маркуша... Марк Пименов! — окликнул я своего бывшего вестового, заметив его в этой толпе.

— Я, господин полковник.

— На родину? Что ж ты пятышься?

— Чудно как-то. Служили вместе, а я теперь советским человеком делаюсь... Вы не сердитесь на меня. Я без вас своим умом дошел, что тут все пропало, развалилось и расклеилось. Рухнуло, и уж не поднимется. По глупости, может, своей — я думаю, что не все скоро, но все там будем, дома-то!

На другой день партия уехала. Первая партия врангелевцев в Россию!

<...>

